

Саша  
Николаенко

Муравь  
ИНЫЙ

БОГ:  
реквием



Классное чтение

Александра Николаенко  
**Муравьиный бог: реквием**

«Издательство АСТ»

2022

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Николаенко А. В.**

Муравьиный бог: реквием / А. В. Николаенко — «Издательство АСТ», 2022 — (Классное чтение)

ISBN 978-5-17-147207-8

Роман «Муравьиный бог: реквием» — новое пронзительное слово о детстве, оставшемся без защиты разумных взрослых. Ребёнок — принц лета и солнца, бог котов и букашек — оказывается обвиняемым на суде человеческой старости. Тёплая, смешная история мальчика и бабушки из «Небесного почтальона Феда Булкина» раскрывается иначе. Язык романа восходит к Заболоцкому и Введенскому, дух — к Федору Сологубу и Леониду Андрееву. Саша Николаенко — писатель, художник, автор романов «Небесный почтальон Федя Булкин», «Убить Бобрыкина» («Русский Букер»), сборника «Жили люди как всегда».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-147207-8

© Николаенко А. В., 2022  
© Издательство АСТ, 2022

# Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Саша Николаенко

## Муравьиный бог: реквием

© Николаенко А.В., текст, иллюстрация

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

*Посвящаю П. А.*

*А теперь пребывают сии три —  
вера, надежда, любовь,  
но любовь из них больше.*

*1Кор. 13:13*

## Часть первая

### 1

Се, стою у двери и стучу;  
если кто услышит голос Мой и отворит дверь,  
войду к нему и буду вечерять с ним...

*Откр. 3:20*

На Странника, в Самсонов день воскресный, дождём с утра немного покropило, потом развезло. На плётне виноградном вьюнки раскрыли тонкие цветки, запахло колдовским медовым взваром лип, густым и сонным. Сад захмелел, по конским щавелям испарина прошла, шиповник опадал; второй зацвет взяла Мария, роняя с вялых чаш спитые лепестки, выкручивая алые венки из куколок бутонов. От кучи перегноя за калиткой поплыл сенной навозный пар. Покойника стирё, старухино бельё и детские рубашки застыли на верёвке бельевой, и солнце стало в тусклом мареве как в студне.

На полотенце, крылья шоколадные сложив, присела бабочка, как сквозь себя смотрела в небо синим глазом; с распятыя пугала застрекотали на кота Добжанского синички.

Дверь скрипнула, осыпав сор навеса за порог, назад поволоклась. Косой притвор ударил в бубен сита, половник звякнул о дуршлаг, подпрыгнуло ведро, дверь распахнулась. Выйдя из тени веранды на крыльцо, она сказала:

– Странноприимец, Странник, ангелерадетель твой, Петрушка, сушить. Теперь семь дней дождя не жди.

«Добра не жди», – послышалось ему; понравилось, что странник. Он посмотрел в булабочное хитрое лицо защёпленного в пальцах комара, сдавив покрепче, вытер о коленку, зевнул и взглядом поискал в завалах хламовых беседки палки от сочка, но только удочку нашёл свою с заржавленным крючком и папин спиннинг, складной, с оранжевой рулеткой, с шикарным флуоресцентным поплавком, который всё равно не разрешала брать; зевнул опять.

– Зевашь – ворота закрывай, чаво собакой лязгашь. Наловишь мух, отложат яйцов по кишкам, и будешь червяков кормить.

– Не буду.

– Будешь, бабушка сказала, все будем, шире разевай.

Покойник не любил, когда они поспорят, любил, чтоб дело миром шло у них, и, если что, стучал из-за стены живой кулёшкой и кричал:

– Бьять, бабы! Бьять!

– Ну сё, вступила поясница, бьять тебе...

– Бьять, бабочка моя! Бьять, баба...

– Де бьять тебе, де бьять? Чаво, за Зинкой, мож, сходить? Под хроб глуха любов-то стала...

И если их не выходило припугнуть, перемирить, то плакал.

– Ну ты смотри чаво наделал паразит, доволен, неть? Весь день теперь не будет спать, проклятый.

– А я-то, баб, чего...

– Бязмужней ходить девка на сносях, с чаво ль бы ветром занясло, чаво иму.

Чертя беду на все лады, она пошла покойника проверить, из дома позвала:

– Петруш! Иди, огадились опять...

За дальним лесом низко грохотнуло, перекаатилось к Клязьме, вниз к водоканалу, расплавилось в густой кузнечный хор. Сверкая штыковой, пошла войной за Волгу грозовая туча, оса задрезжала о стекло. Отдвинув гробовины уголок и пальцем удавив осу меж складок, прищурясь въедливого солнца, она всмотрелась за забор:

– Не видишь, Петь, не Дергунову чёрт несёт?

– Не, ба.

– И всё же язычок прибрать греха подальше, с утра носило первой линией жмею, под вечер точно жди.

И, тяжело вминая половицы, с опаской на покойника косясь, из счётчика разбитого достала язычок газетный, сложенный в четыре, который через трещинку в окошке колёсико, чтобы «не набегало чёрти што», держал.

Покойник не любил, когда лихуют с государством, был партийный. В коробочке его лежали многие медали, и обещала их на пугало – ворон смешить – повесить, если проклятый будет ездить.

– Мне повоюй! мне повоюй, осподень тлен. Он, в партию пиши, как бабка с сиротиной Хремль граблуть, траву с земли, кору с горы, за инвалидность за твою на хроб не соберёшь, ори. Кондратий хватить – закопаем вон с Петрушкой за забором. Да, Петрушка?

– А?

– Что жизнь прожил, что нет, мядали бабе с детой грызть твои?

– Они не золотые, баб?

– При коммунизмах, дето, только зубы золотые: помрём – возьмёшь в сарае гвоздодёр... «Орлёнок»-то хотел? От... будет с двух хробов вялосипед.

И, усмехнувшись, сунув язычок в бездонный фартука карман, окончив спор победой, захромала из пустой, до щеп притреснув разговоры дверью.

Пустая комната звалась *пустой* с тех пор, как из неё перетащили на веранду папы кресло, и, кроме холодильника и деда, в ней больше не осталось ничего.

– Бьять, баба.

– Де, гляди? Смотри де, посмотри...

Покойник посмотрел за гробовины отогнутый уголок – как там сверкает-зеленеет за окошком, на пугала вороньего рукав, на флоксов шапки, на узкую заросшую тропинку под верёвкой, которой солнышко полощет бельецо, закрыл глаза. Устал.

Петруша отпустил обзорный занавески край и вышел.

– Утих?

– А Дергунова, баб-то, может, не придёт, ты вставь пока, а я её подкараулю у забора...

– Подкарауль, Петруш, не приведи осподь, как с холодильника горим.

«Не проведи», – послышалось ему. Меня не проведёт...

После обеда опустели дачи. Горожане разъезжались, за ними затворяли ворота кривых заборов пенсионеры-старички, и голоногая вечерняя Москва их снова открывала и пинала, и конница велосипедная загрохотала, пыля дорожной насыпью, в Гороховы поля, к пруду.

Петруша подошёл к забору, сорвав зелёную ещё крыжовину, поморщась, лопнул шарик на зубах и, выжав сладковатый сок, отплюнул шкурку. Землёй уже лежало множество таких: она крыжовины зелёные срывала тоже и тоже сплёвывала шкурками жевки. Он прислонил к щели заборной глаз, выслеживая Дергунову, замер.

Расхаживала вдоль забора кура, и, обождав, пока ещё пойдёт, вдвев пальцы в рот, присвистнул – кура понеслась, кучка, забила в лопухи и, закатив от ужаса глаза, затихла.

Звеня звонком, брэнча багажником с привязанной подушкой, промчалась мимо наблюдательного пункта на своём «орлёнке» Василевских Сашка, и, отодвинув тайный лаз, просунув голову меж досок, смотрел, как под короткой плиссировкой юбки мелькают над педалями подковки узеньких сандаля.

Калитка скрипнула, и дряблая рука в пигментном крапе пролезла в щель, пытаясь сквозь нащупать ржавень и крючок.

– Идёт! – Он разогнулся, отпуская доску, грядками укропа, по клубникам промчался до крыльца, окликнул: – Ба! Она! – Но в доме было тихо, он бросился в пустую, под «баба – бьять!» на цыпочки поднялся, выдернул из щели язычок, зажал в кулак и, запыхавшись, вышел на крыльцо.

У лавочки уже стояла Дергунова, в своей мышинной кацавейке, с прокисшим репчатым лицом и с толстой папкой счёт-оплаты электрических услуг.

С задов, от дальнего двора, с ведром без дна, какому дном служил пружинистый каркас сорнячных веток, шла она, и, заговорщиком кивнув, её каёмочкой тропинки обойдя, разжал кулак. Газетный язычок упал в траву.

– Бог дай здоровьишка, Зинуль...

– Тебе, Верунь.

– Молитвами твоими. Чаво-то зачастила к нам...

– Не я частá, дела часты́.

– Петруш, это куда собрался-то?

– Я так...

– А так – ведро на́, бабе вынесь, не видишь – Зинасанна вон пришла.

– Помощник, Вер, растёт.

– Ой, Зин, спаси тебе осподь помощников таких... чаво стоишь-то, на веранду проходи.

Петруша зашагал с ведром нейтральной полосой малиновых рядов к помойке. Добжанский кот в репейниках сидел, завалинкой бежали муравьи, садилось солнце, на Василевских стороне дядь Женя папин «Беломор» курил, тётъ Люба в их беседке накрывала ужин.

Толкнул калитку, вышел, продравшись сквозь кордон цеплючих веток ямы выгребной, одной рукой зажав от вони нос, за уголок седой половичок откинул, каким она для перегной укрывала общий сор; земля под ним дымилась, как будто в глубине зыбучих ворохов травы, осклизлых гуш, куриных косточек, личинок-червяков, под зуд зелёных мух, на земляных дрожжах, последнюю выпаривая влагу, тлел пожар.

Звонок, по кочкам прыгая зазвякал, багажник застучал – трата-та-та! Залаял за забором Сашкин Шарик, и, обгоняя мчащийся овраг, гремя, скрипя, педалями в уклон крутя, промчалась мимо Сашка с посвистом разбойным, ввернув восьмёрку задним колесом у их ворот, пришпорила коня и, осадив, похлопав по багажнику, сказала, обернувшись:

– Садись, до низа прокачу...

И ты летишь, вцепившись в железяку под седлом, раскинув кеды над крутящейся землёй, боясь, что пальцы вдруг прищепит ржавая пружина, а ветер ноги оторвёт, и майка Сашки прям об нос – хлоп-хлоп, – и за спиной её не видно впереди, как будто в пропасть. А мир назад, наверх свистит, а ты туннелем вниз под дикий треск прищепки в спицах, в колодец ужаса из двух заборов и времён, в котором, как в метро, сливаются сейчас и было с будет, деревья, крыши, небо, облака, забор-вагон, трава-перрон, и, если духу хватит обернуться, увидишь, как маяк пожарной вышки, взлетая, исчезает в высоте.

Последний скорый в глубину земли трясётся так, что зубы как горох, глаза закрыл, чем видеть, как в лепёшку. Сейчас – и всё... но только всё быстрее, и ужас обгоняет страх – трата-та-та! Уже быстрее нельзя никак, как будто растворился в скорости обратной, как размолото мельницей педаль, и там, в пересеченье дачных линий, сошедшихся, как в папиных чертёжных ватманах, в одну, сквозь дальний лес портал открылся, чёрная дыра, и даже тормоз задний не поможет, не спасёт, и обречённо думаешь: «Спасите! Мама!..» И смерть внезапно отпускает хват, да так, что в жёлтенький горошек майки Сашки головой, и пыль столбом, и ноги опускаются на землю, болтаясь, как верёвки, в кедях и шнурках.

– Ну, как?

– Ва-аще-е...

И с двух сторон руля-коня идут, ведут домой оранжевый «орлёнок», хрустя вечерней пылью золотой.

## 2

Чирикая, стуча, мыча, бренча, жужжа и лая, день погружался в сумерки протопленной калёным зноем ночи; меж флоксами проплыл Добжанский кот; фиалки раскрывали синие глаза, дышало ими. Низко, неподвижно над почерневшими бархотками висели тучки мошкарья. Открылись звёзды. Авиалинии чертили меж небесных свои короткие меловые пути, и синева развеивала их и превращала в перья от гигантских куриц.

Петруша посмотрел на небо. Две белых полосы, очерченные отблеском заката, пересеклись и постепенно растворились в глубине над ним.

В саду запахло колдовским и тайным, всё ближе на тропинку выползали тени из цветов; лягушка шлёп из-под ноги ожившей темнотой, и ужас остановит сердце. Всё тише голоса старух, присевших лавочкой у дома, как будто с каждым шагом уменьшался звук, как ручку радио крутить.

Он оглянулся. Старухи уменьшались вместе с звуком, и, сделав шаг назад, он увеличил их чуть-чуть, довольный, зашагал к калитке дальней, считал шаги, чтоб знать, с какого раза исчезают насовсем.

У бочки оглянулся снова.

Тёмный дом, под низким лбом обросшей мхом чердачной крыши, слепое длинное покойника окно, и светлячком мигает через листья веранды рыжий огонёк, всё остальное исчезает, становясь невидимым совсем, уменьшившись до ничего, которое огромней сада, поля, леса, неба и земли.

Деревня гномиков, посёлок муравьёв, бегущая в полях дорога-невидимка, большая станция и город – всё исчезало от его шагов, и он, не исчезая, исчезал тому, что там, как будто тени делался одной с огромной темнотой, со всем, что шевелилось, квакало, скрипело, прыгало, хрустело в ней из сотен глаз, многоголосий птичьих, запахов и шорохов, и лап, и веток, и стволов, иголок, панцирей и жалец, когтей, зубов, присосок и клыков.

В воротнике ревя торчал из грядки пень с чернеющей зарубкой спила, как будто кто-то великана в землю закопал и после голову срубил, и обезглавленный мертвец, обвязанный верёвками-корнями, мог каждую секунду землю приподнять, осыпав яму, смяв ремень, пойти на дом и растоптать его и всех, кто там, как мух передавить. Петруша обошёл его по грядкам, опасливо косясь, чтоб не вцепился, не напрыгнул со спины.

Здесь рос у ней махровый опиумный мак, «лиловый кардинал», храня в коробочках-головках сухую сладкую икру на пироги. С бутоном стебель отломив, увидел проступивший в сломе белый сок, как будто слабенький цветок из трубочки пил молоко земли, как в ресторане города Анапа с папой пили через трубочки коктейль, и, вспомнив, облизнул и потянул в себя белёсых крапин, но молоко земли вязало и горчило. Отковырнув с бочонка макового крышку, мизинцем подцепил икру, но та была бела и пахла рыбой, что даже пробовать не стал.

Усатая оранжевая лилия цвела, он, ветку наклонив, вдохнул густой дурман, окрасив нос ржавчинками пыльцы, увидел дно, внутри свернулся шмель.

– Привет...

Но шмель был мёртв.

Два ясных серых глаза, не мигая, смотрели смерть шмеля, и выдох шубку шевелил как на живом, как ветер траву. В кругу пожарной бочки круг луны, и глубоко вверху неслышные плескались волны, невидимые шлюзы пропускали воздуха поток, несущий с юга вкус цветов,

пропахших морем. Он растопырил пальцы, пропуская свет, и лунный ток полился на цветок теплом руки, в четыре треугольника из неба; мёртвый шмель сердито дёрнул лапкой.

– Петруша-а!

Выпустив цветок, нырнул за бочку, присев на корточки, сидел не шевелясь, невидимый, неслышимый, и сгусток быстрой темноты скакнул, коснувшись пальца в дырочке сандалии, он, руку протянув, схватил его.

– Привет... У-у ты какая... у-у какой... – и пальцем ласково провёл по улыбающейся морде.

Лягушка, защищая жизнь, толкалась лапами, сгибая-разгибая быстрые коленки, вся поместившись в стиснутой руке. Он сжал её покрепче, поднёс к глазам, в глазах увидел сад, себя, полбочки и беседки, веранды огонёк, старух, таких малюсеньких, как точки, дальний лес, окно пустой, и пень без головы, и небо. Как будто мир внутри лягушки поместился весь. Послушать мир приблизил к уху, в лягушке что-то булькало, ворочалось, стучало и пищало, на много разных непонятных языков, далёких голосов, под пальцем прыгал, раздуваясь и сдуваясь, сухой воздушный колобок.

– Боишься... да? У-у ты...

Из пальцев выдавившись лапкой, она сердито замахнулась на него, и яблоневый лист, кружась неслышно, как мотылёк ночной, живой и жуткий, скользнул за шиворот; он, вздрогнув, стиснул пальцы. Лягушка окнула и обмерла, окно веранды в ней погасло, из кулака потёк густой противный сок.

Задрезавшими коленками терпя разбуженных мура́х, он вылез из-за бочки, смывая смерть в тепле ржавеющей воды, обмыл ладонь о мягкую луну и, размешав кругами, превратил в воронку. Рука исчезла в глубине, как будто смешанное зеркало воды безболезненно откусило пальцы плотной темнотой.

– Петруша! носить чёрта де? Петруша! баба закрыват...

И голос слепо пролетел по саду, прошёл забора сквозь и заблудился в темноте.

Калиткой дальней сумерки сгустились, здесь пахло влажным складнем поленниц, сырой землёй, сухой водой, опилками и мхом, из чёрных за́стрех досок смотрел на задний двор кривой сарай, к земле прижатый крышей рукава от бывшей бани, закрытый на замок амбарный от долгопрудного и здешнего ворья. За стенами сарая всегда чего-то копошилось и скреблось, скрипело и стучало, бормотало, как будто вешали замок не от ворья, а от того, кто заперт был внутри. Он покосился на замок, на дверь, сочащуюся в щели темнотой, тихонько подошёл и заглянул в прореху досок: никого.

Край верстака, по лунной зебре уходивший в темноту, похожую на бесконечный коридор без стен, дверей и лампы. Канистра с керосином, наполовину съеденная ржавчиной, наполовину тенью. Клубки шурупов и гвоздей, зажатые в невидимом стекле расставленных на пустоте литровых банок, хулахупа серп, всё в невесомости, всё заперто в невидимые стены. Покрышек папиных запаска, стоящих на несуществующем полу, покойника штурмовка чернотой на черноте и тень её, повешенная рядом, лопаты, тяпки, кривли-грабли, ведра, газовый баллон, похожий на ракету или бомбу, змея верёвки бельевой и звук движенья чего-то, какой легко слышать, если не дышати. Комар куснул, и, комара прихлопнув, его просунув в щель, сказал:

– Ешь, нá.

И сразу отступил, пошёл к калитке.

На ветхой дверце, забитой снизу рваной сеткой от собак, едва державшейся в петлях, зажатой для поддержки покосившимся забором, висел второй замок, которым сад она обороняла тоже от ворья и мертвецов курганных, Петрушу самого, чтоб ей из сада ни ногой, не утонул, курганом шею не свернул и не зарезали из Долгопрудного бандиты. Он отодвинул доску проходную, свою грибную палку из поленницы достал, проткнув копьём-веретенном, скрутил на посох паутину, пролез в портал, отёр о листья палку, задвинув доску, растворился в темноте.

С той стороны вечерний воздух сада мешался с запахом лесным, чужим: полынных трав, низинных мхов, цветущих иволг; засыпанная морехом сирени, шуршала под ногами зыбкая земля, у лунных островков толпились тени, меняя видимость дневную на смутные кошмары темноты.

Забор, облепленный репьем, кустарником колючим, засыпанный осколками стекла, ржавьём, тянулся, ограждая дачные участки от вала мусора из них, сухих валежен бурелома, яблоневых куч, ям выгребных, засыпанных травой. Берёзовые рёбра изнутри светились, от лёгкого дыхания ветерка шептались листья. Всё двигалось, ползло, переменялось, обрывалось тишиной, один вытягивая звук – тук-тук. Огромное чудовище портала, покрытое зелёной шерстью, плесенью, корой, поросшее поганками и мхом, засыпанное битым хламом, шевелилось. Пестрел от забудок пятачок полянки у костра, и чёрные большие ведьмы-жабы летали над тропинкой, их глотала темнота. От ведьм и жаб припомнилась смуглая светловолосая растрёпанная Сашка – с этюдником на длинных марсианских лапах, на иволговом солнцепёке у пруда, слепящим облаком из света, в венке из васильков, в подсолнухах на синем сарафане, как маминых жемчужин нить улыбки, и губы в землянике, как в крови.

Шагнёшь за грань, расплавившую солнце, и день забудет о тебе, прозрачным ветерком за ухом холодок, в косящий глаза уголок забился страх, расширив чернотой зрачок, чтоб лучше щёлкнул смерть свою, которая сейчас. Ждала весь день, впитала утренний туман, росу, рассвет, короткий дождик, запах голубцов, всю неба синеву, закат, от Василевского костра дымок, и дождалась. Стирает след, ползёт на стук, тук-тук, какой не заглушить в себе, пока она не схватит. Движение реки, зализывавшей камни, низинки глубина, в которой извивается туман, там, где луны зрачок не достаёт могильный холмик яблок прошлогодних, засыпанных истлевшей тканью покровной, кривых размякших черепов обмякший воск, и, напрягая чёрные волокна, подземный спрут, жить тех времён и лет, что обратились в прах, страны, в какой скелеты мертвецов, сороконожками ожив, корнями пробегают, черпал энергию подсолнечной травы. Живая глубина, иная, на сердца стук, под шорох высохшей земли – беги! – но стыдно самого себя бежать. Стоишь и ждёшь: сейчас она тебя, как в басне волк козлёнка, за то, что хочет есть, а ты – еда.

Густая чернота, такая плотная, как глубина речная, пластами воздуха, пластами безвоздушья, туманом с бритвами осок, свечами иван-чая, над сопками канальцами, ходами тянулась вниз забора по траве. Невидимый оркестр играл симфонию ночного мира и войны. Смычковые ударные басы, волосики-усы, валторны, флейты, шупальца и жальца, кузнечики, жуки, кроты, клопы, пиявки, жабы, черви, пауки, глаза, глазки, провалы темноты и звёзды соединяли музыку свою в единый звук согласно палочке невидимого дирижёра, невидимого так же, как Петруша и они.

Турбины и насосы втягивали жизнь, и запахи, и звуки; ломая кости, лапки, ветки, черепки, огромный зверь питался, преобразовывал снующую, пищашую, стучашую, поющую, кричашую живую силу в пищу в этот тихий звёздный дачный час. Втекала в подводящие каналы жизнь и не могла остановиться, потечь назад, её движение сосудами земли, её туннельцами, ходами было бесконечно, она текла по кругу, без конца.

– Пусти, гадючина, пошла! – Он отцепил от майки деревянный коготок, и ветка закачалась – ших-ших, ших-ших... До крови не ужалив, обожгла и, выжидая, замерла.

Умолк оркестр ночной, его перехватило спасительное:

– Петька! Дрянь такой, домой иди! Убью!.. Ну, здравы буде, ости дорогие! Не на родины, так в помины хоть дошли... идёть зараза, ты хляди. Покойник, слышь?.. Пришёл проклятый, слава те... – И, выветив из темноты Петрушино лицо пятном от керосинной лампы, хвостом трескучим света провела к веранде хлопчущую стайку мошкарья: – За занавеску живо! твари налетать.

– Они и через занавеску, ба, летят.

– Лятять, а де тот чёрть расковырял, не ты?  
– Чё я-то, ба?  
– А хто?  
– Она за гвоздь цепляется вот тут.  
– А хвоздь дурак зашёл забил?  
– Ты ж, баб, сама просила...  
– Тут просила! тут! – И стайкой мошкарья перевела повыше чуть гвоздя, который вбил Петруша. – Фломастером... не видишь, рисовала де?  
– Там сук, баб, был.  
– Там сук, а тут во хробь хвоздём, шкорябаюсь хожу...  
– Я выдеру тогда.  
– Надёргашь. Я надёргаю тебе, доску щепить – и без тебя дом с первым чихом рухнет. Покойник строил на соплю, да ты хвоздями бьёшь...  
– Да ладно, баба! Баба, баба, ба-ба-ба...  
– Чаво? На яме дом стоять и в яму рухнёт, не надо будет государству хоронить. Оставь, пусть так, до смерти доживём. Ведро пойдя поставь.

И он пошёл в пустую ставить дедушке ведро, какое на ночь ставили всегда в пустой на подпольную крышку весом, чтоб не пролезли, не загрызли в сне блажного крыси из ямы, на которой ставил дом.

### 3

И день и ночь покойник «миру колотил», с бездэль устав, царапал гробовину; набравшись сил, разбитые набкровь пальцы собирал в кулак, опять стучал, и от ударов содрогались стены, под козырьком крыльца на паутине вздрагивали мухи, чердачная труха ссыпалась в стирный таз: бум-бум, бум, бум! – как будто выбивают пыль с ковра, и пыль, сочась сквозь щели, дымилась в солнечных лучах, и эхом откликался ветхий дом – бум-бум! Бум-бум! Половник звякал о дуршлаг, и с лязгом вздрагивали ведерные крышки.

Спиной к крыльцу, к покойнику в полглаз, она в саду на лавочке сидела, в тазу перетирая со своим Петрушкино штанцо, говцо отцово, тяжёлым кулаком вода постир ребром доски стиральной, стуча покойнику в ответ по тесту влажного тряпья разбухшим с сырости вальком. Бум-бум, бум-бум... И брус хозяйственного мыла отпрыгивал с ударом колотушки в дебри подступающих к дому флокс.

– Петруш!  
– Чего?  
– Упрыгнула опять, ляхая сила.  
– А?  
– Да подыми! Упрыгнуло опять...

Про мыло говорила: «Из трупных жиров варю, вот и скользко, в войну-то из людей варили мыл...»

– Чаво хлядишь? Не веришь? Ну, не верь. Людей-то больше, чем свяней, дешевле, што ты думаешь? вот и варю... помады варю из людей.

– Ба, человек варить не дастся.  
– Не дастся... разве спросять? Тфу ты осподи помилуй, самознай. – Свекольной от загара, сильной, в оборочках с горохами рукой махала к Василевским: – Из таких...

– Каких?  
– Каких-каких... таких! Христа продали, неть суда на их...  
– Кто, баб?

– Да кто... Кругом они-т... один помрёт, чатыре родють. Де не Абрам, там Мендельсон...

– Чего ты, ба, так странно говоришь?

– Чаво ж я странно? Говорю и говорю.

– Как бабка деревенская прям ты...

– Вот, баба! Баба, баба, баба-бы... – поддерживал покойник.

– Иди ты знашь куда, Данило? Уговорились помярать, да осподь в небы не берётъ, чертей тебе запрячь, на дрожках подвязуть...

Она в Москве не говорила так – на «уть», и «ить», и «ня», а иногда и забывала тут, и говорила «тут», не «туть», теряя языком любимую привычку:

– Вот тут вы мне! Вот тут! Вот где... – И проведёт по горлу мыльной пеной, а дальше «туть» опять заговорит.

Он шёл поднять «лягушку». Найдя в земле, ополоснув брусок, обратно приносил, и под окном пустой, в щебне и мусоре за лавкой, облеплены трухой, берёзовым крестом, кошачьей шерстью, лежали смылки от ненайденных лягух, ручьями клейкой жижи собираясь в пенистую лужу у веранды в дождь.

И громким шёпотом, косясь, чтоб правды о себе не слышали Христа продавшие соседи, говорила:

– Всех оккупировали, ну... Ты посмотри... змяево семя, в правлении хто? Гольдман да Лехаим! Огородились, силы неть на их, попомнишь слово, эти и в потопь найдуть, де рыбки поймать, и сё любусь, не так, как у людей...

И он смотрел на лехаимские участки с подозреньем. Всё, правда, было там не так, как у людей: красиво. Цветочки ровненько цветут, тропинка плиточкой, укроп, петрушечка, салат без зарослей крапивных, а у неё и лебеда, и курья слепота идут на щи:

– Все витамины, что с земли наверх...

В клубнике не растёт чеснок у них, газончик ровненький, как в сказке, на нём под зонтиком, как пляж, чтоб солнце не мешало, дядь-Жениный в полосочки шезлонг, в шезлонге Чехов, то Прутков, то тёти Любы «Мода», то Сашки, что она читает там, и у беседки столик раскладной, переносной, какой под дождик убирают, чтоб не мок, а в солнце рассчитали так, чтоб есть в тени! И даже душ клеёнчатый с баллоном чёрным вместо крыши, в каком за полдень греется вода. Придут с канала – на тебе, прям как в Москве, горячая течёт! И думал: да, живут же люди! Как будто остальные не живут...

– Чаво там вбздашься, нашёл?

– Сейчас... совсем на их упрыгал.

– Чаво на их? На их подлезь... откусить бралку пёсий дух?

– Я тут пролезть не дотянусь...

– Де надо, там без вазелина клизьма. И будет, будет, жизнь-то ждать. Другая баба, думаешь, после этой не дождётся обстирать?

– Да щас...

И, дотянувшись до обмылка, думал: пошла ты с этой жизнью хоть куда!

Она, под козырёк руки оглядывая сад:

– А тень-то... тень-то, ты смотри куда? ну ты смотри, все патиссоны поогнивляют, на получастька без свету сидим, хоть в небушко пиши...

От ветки мельбы Василевских тень с полудня вползала полосой нейтральной в её заросший бедный сад, и было невозможно запретить вползать тени, и только скажет тёте Любе иногда:

– Вон, Люба, мельба ваша вся на нас...

– Да где на вас? На нашей же она.

– А тень-то, Люба?

– Да что ж мне – тень теперь спилить?

Она махнёт рукой и губы подождёт.

И в осень мельбу их считали за свою, когда они на день, на два пораньше с дачи съедут. Хорошее варенье получалось и с грушовой, какая сытной веткой яблочек десертных тоже щедро сыпала на них.

Границами-межами, с участков дальних их участком до чужих, водопроводная труба несла поливочной воды на всех, и, чтобы до израиловых земель не доставало вод, она то в полную откроет шланг, сведя под ствол соседской вишни пыжло, то вдруг найдёт кирпич, пошлёт поднять трубу у разделительной черты повыше – «положь низок-то, загниеть-прорветь», – чтоб спал у вражеских низин напор.

– На, ба.

– Куда в тазы кидашь грязьём!

– Я сполоснул...

– Размочишь! Мыло не трава...

«Бум-бум, бум-бум!» – и, стукнув колотушкой напослед в оттяг, до эха, как будто и через канал на Долгопрудном берегу, она опять звала:

– Петруша!

– А?

– Развесь.

И, вдоль повешенного проходясь дозором, выглядывая в солнце пятна не сошедшего Данилина кровья, качая головой, дивилась на него, на жизнь дивилась:

– И чем с мощей молотишь проклятуций? Ну жизнь, ой жизнь, в могилку поглядишь – как отдохнуть...

Дед, соглашаясь, отвечал миролюбиво:

– Да ладно, бабочка моя.

– Тебе и бабочка твоя. Бяда не лябда, не выполешь Данило, осподь тебя не взял и чёрть забыл.

На закреплённом проволокой кресте из черенков лопат, заточенном колбм, забитым в землю, с обтянутой капроновым чулком литровой банкой вместо головы, распятием над грядками раскинув руки, стояло пугало в саду, и по нему сверяла время в доме – короче тень, длиннее тень, тень у сарая, у калитки, за забором. Петруша, завтракать! обедать! ужинать иди...

– То ль день, то ль жизнь прошла – и не видала... Полы ли мыла, Петя, я?

– Да мыла, ба...

– Што мыла, што не мыла, заходили. Одна в горы говны ношу, елики гóвны, осподи прости. Сымай, как домом входишь, ноги, говорю. Што говорю – не говорю... в врата-то тоже с землями пойдёшь?

– Да я снимаю.

– Сымаишь ты, а глин покойник наносил... Данило, а Данило? Ты, што ль, во саде плясешь гопака? То, што ли, к Зинкам, может, бегашь без порток...

Данила Алексеич отдыхал, молчал, дремал от завтрака к обеду. Петруша представлял, как притворяется, что спит, а сам, пока она в саду, корой мертвячих пят стучит по половицам плясу, звенит половник о дуршлаг, подпрыгивают ведерные крышки... или до бабы Дергуновой от неё тайком, задами, без порток... и улыбался.

– Што шмяшно? Ой, Петька, бесть в тебе сидить, такая бесть, не дай осподь в дорожку, вон в зеркало поглянь, какая какова...

И он смотрел в зеркальный шкаф, как тянет бесть из зеркала язык, кривляется, смеётся, бабу корчит, рога рукой на голове, бараном: бе-е-е...

Одетое в Данилы Алексеича костюм, какой «ещё носить бы и носить, да в аде наги», распятое пугала скрипело, качалось на ветру, как висельник, размахивая брюками над грядкой.

На ниточках, пришитых к рукавам, консервные распахивая рты, позвякивали банки. На левом рукаве, когда идти с кургана, на правом рукаве, когда с крыльца, хвостом указывая дом, сидела, сгорбившись, ворона.

- Петь!
- Чего?
- Сюда иди.
- Чего?..
- Хляди, опять бяду высиживает, гадь!
- А я чего?
- Чаво... полей иди.

И, за собой разматывая кольца шланга, цепляя петлями высокую траву, рывком снимая шапки флокс, Петруша поливал воронье пугало с кружащейся над ним вороной. Дневной напор воды, когда никто ещё по пеклу не включает шланг, за радугой струи давал цветную.

Распятый промокал до нитки, обвисал, смеясь проштопанной улыбочкой чулка. С соломенных пучков, торчащих из пробитых клювом дыр, из потрохов подкладки, высачиваясь, мутно капало под крест, стекало по гороховым стручкам и впитывалось в землю.

Ворона налетала, крыльями треща и гогоча, загнав Петрушу под навес крыльца, из чучела выщипывая на лету соломы клочья, взмывала вверх, летела к дому, и дом её в зелёной высоте расщелины «коричной» мгновенно наполнялся радостным птенячьим «пыи! Пи-и-и!».

- Петьк, посмотри? Опять глаза ему повывклевала, тварь...
- Ага, ба, видел...
- Видел к лавке не придёт, иди сымай.

И, вынося с веранды стул, качаясь в четырёх ногах, ушедших разное в землю, Петруша голову снимал с креста и оставлял на лавочке, чинить.

- Мне нитку вставь, не вижу ушка, сляпая стала бабушка совсем, с поводырьём ходи.
- А чё, ба, поводырь?
- А поводырь – как боже, за верёвку сляпых над пропастью ведёт... чаво, Петрушка, будешь бабке поводырь, как дочерна ослепнить... или, как папку с мамкой, до могилки поведёшь?

И, не дожидаясь ответ, защипывала с банки кожу от чулка, вшивала новые глаза из разноцветных пуговиц, зубами скусывая хвостик узелка.

- И снова приносили черти к пугалу ворону, и снова шёл Петруша поливать.
- Чего впустую льёшь? Костюм сгноишь.
- Да он и так вон...
- Пусть и так, а поливай, когда сидит она, чего задаром лить...

И на день снова «забывала» в зарослях малинных возле василевской вишни или мельбы включённый до упора шланг. Со дна нейтральной полосы меж двух участков вставляла чёрная вода, в ней крякали лягушки; Петруша потихоньку кран перекрывал.

- Воды, что ль, нет? чаво-то не тякёт... ты што, закрыл, Петруш?! Поди-к сюда...
- Ты, баб, сама, когда посуду мыла.

Но крепко у себя держала в голове дела, не забывала кран на шланг переключить, не верила на хитрость:

- В могиле баба позабудет, всё простить, гулять подёшь, плясать, внучать рожать – не вспомнишь; жавой за дуру не держи, ищё так сделаешь раз – узнаёшь мне...
- Под дом же, ба, течёт, так дом сгниёт.
- Да он и так согниёт без мужика, без сына, спасибо, миленький, тебе... иди включай! Вон чуить – не тякёт, опять пуглоб сядить...

И, переждав полив на небе, ворона опускалась на распятое снова, надсмотрщиком складывая крылья, хвостом на дом, крюком на сад, посверкивая глазом слюдяным.

4

Вороны расхозяились в саду, ещё в начале мая стоял над топкими межами птичий гай, и чёрный табор ветки зацветавших яблонь облеплял и крыши. Она метлой грозила вверх, но не могла смести вороний шабаш с неба, как сор с веранды и крыльца. Угадив на собраньи сад, молочной убелив поземкой всходы, вороны разлетались чёрной свадьбой кто куда, и крик их возвращался от кургана эхом. В июне на участке их осталось две. Он и она – две смоляные птицы, в расщелине разбитой молнией «коричной» из хворостинок свили крепкой шапкой скоп. Из раковины воровали ложки, бросались с неба на Добжанского кота, и за примятые цветы тут-сям цеплялись шерстяные клочья, катились чёрным пухом по траве. Обзаводясь чужим добром, гремели ночью опрокинутым ведром, разгуливали крышей, и весь июнь по саду и курганом он летал один туда-сюда, как папа на работу; она в гнезде ждала его, высиживала яйца.

– Останутся они, и будешь скоро бабу с дедой хоронить, увидишь. По нас они, от сердце чуеть, холодить.

– Да ладно, ба, чего...

– Чаво тебе... Он, смотреть, ведьмин глаз... – И в чёрном зеркальце, внимательно следившем из гнезда, через листву слепящей бисеринкой вспыхивало солнце.

Распятие от них в начале лета сколотили, одели в дедово и самого в две силы усадили на диван, чтоб посмотрел, как хорошо на пугале сидит. Данило Алексеевич одобрил, разулыбался, с уважением сказал:

– У-у, бабы...

– Костюмчик-то Данило только раз и надевал...

– Да, бабочка?

– На свадьбу-то к Ивану, помнишь, что ль? Узнал?

И дед испортил настроенье всем, заплакал, сидя барином в перинах, подоткнутый со всех сторон, укрытый, смотрел за отогнутый гробовины угол в сад, и губы морщились, бежали слёзы по щекам, и повторял сквозь них: «Бьять, бабочка, бьять, баба, баба, бьять...» – жалел костюм, пока от слёз на сон не разморило, и так уснул, разулыбался в сне, как будто видел в нём чего-нибудь получше...

Петруша тоже часто видел в сне чего-нибудь получше – полетать... Взлетишь, сначала быстро-быстро мчишься, в ушах свистит, внизу она метлой с крыльца ворон метёт, а ты всё дальше, выше. Выше звёзды, холодно и страшно... И, как в колодец, снова вниз, как если папа в море прыгнет со скалы, а мама рот ладошкой заслонит и скажет: «Мама...»

Внизу, когда пройдёшь сквозь горизонт заката, на сонном солнечном огне, качаясь, поплывёшь, руками розовые волны разводя на много мыслей и без них, прозрачный, как в горячий полдень блики на воде, а папа выйдет из воды, до берега доплыв, и спросит:

– Что, герои, приуныли?

А мама скажет:

– Ваня... больше никогда.

Опять потянешься мысочками от пола, потом два тапка на пол – бряк! Под потолком проверишь, что за коробки на шкафу: ботинки новые, ещё одни, конфеты «Вишня в коньяке», хурма в газете, новогодние игрушки, на люстре, между прочим, пыль. И утром скажешь маме, что у нас на люстре в коридоре сверху пыль, а папа спросит:

– Ты откуда знаешь?

А ты – что видел ты, когда летал.

Притащит папа синюю стремянку, мама тряпку даст, и правда подтвердится: пыли много, и правда подтвердится: ты летал.

Сквозь сон, через забывчивую вечность, за стенкой кухонных часов знакомый ход, туман привычных звуков, голосов, прохлада движущихся теней облаков по синим полочкам буфетным, вот-вот и чайник закипит, а кофе мамин убежит. Он в вечности всегда так убегает, «пока посуду папа мыл».

В ней вечно всё, что попадёт в неё, и сколько хочешь снова расплывается луна на зыбкую дорожку, мешая пристани морской и звёзд огни. Что, брат, рискнёшь?.. И ты рискуешь в ней зайти – рука в руке – в чудовище морское, и папа держит в темноте бездонной под живот, опять, опять, и не отпустит никогда, какой бы глубины ни глубина, какой бы вечности ни вечность. А мама с полотенцем ждёт. И будет ждать тебя всегда.

Они приходят через сны в те дни апреля, в те синие, на саночках деньки, в тех шариках на ёлке новогодней всегда двоятся отраженье их. Ещё остался запах утренней зимы в перчатках папы, в кармане мелочь, «Правда» на столе, вечерний день и край ковра, который как-то умудрился здесь и там, снежинки за окном, а нос расплющивает снег. Стеклом проходит свет, проходит тень, тепло и холод, а за закрытыми глазами мама в комнату войдёт когда – её подкараулить и глаза открыть. Попробовать ещё. Ещё. Ещё. Ещё...

– А любить-то друг дружка, ты хляди... Милуются-то, осподи прости, везде любовь, лягушка на лягушке, срам смотреть... Петруша?

– А?

– Что клюв раскрыл? Роса не капнет... Иди вон коврик шлангом-то полей, весь коврик изосрала твари, всю петрушку, дряни, паразитки, чтоб вас... Петька! Что сказала!..

– Что?

– Да разворонишь счастье, что. Оно-то вон пошло... – Она кивала на малинный ряд, где между листьев вдоль нейтральной мелькал на Сашке Василевских сарафан.

– Пошла, царёва-лебядь, он ты... Петруша? Коврик-то полил?

– Полил.

– Иди уж, тоже с ими покупайся, жарко... Люба-а!

– Ай?

– Возьмёшь купаться-то сиротку моего?

И он бежал за полотенцем с кругом, боясь, что передумает она или покойник дел надевает, успеет. Не по тропинке добегал от лавочки к калитке дальней, а сразу же нырял в малинные кусты и, пробежав нейтральной полосой, недостижимый, невидимый с крыльца, топтался за углом тётъ-Любиного дома, пока они оканчивали на купанье сбор.

В канале отражалось небо. Петруша замирал внутри ещё в Анапе купленного папой круга, качаясь на летающих волнах промчавшихся ракет; со свистом ласточки чертили небо, выхватывая серебристых рыбок из воды, чертили в небе самолёты белые мосты, и Сашка, подплывая к кругу, руками разводила их следы в воде.

С купания встречала всполошённым криком из гнезда ворона, кружа над головой, гоня.

Она на крик с веранды выходила, распаренная жаром кухонным, крича:

– Есей! Пришла беда!

– У-у, баба... – радовался дед.

Петруша хмуро вешал круг на яблоневый сук и полотенце мокрое туда же.

– Жаних, трусёнки-то прописькал – сплосщи, жанилково застудишь...

И, деревянный с страха, что услышит Сашка, думал: дура! – и в горнице переодевал в сухое мокрые трусы.

– Бывали времена, и мы любилась... – она вздыхала, мялкой выминая в кашину для дедушки обед. – Покойник, помнишь, нет?

– Да ладно, баба...

– Што? Любил меня, скажи? любил, ай как любил... направо да налево, посерединке только не имал.

– Баб? Можно к Василевским?  
– Што?  
– Или уже обедать?  
– Обедать было чась назадь.  
– А что у нас...  
– А што бы ни у нас, у их-то лучше, баба-т знаить. Иди-иди, из титьки волка не вскормить.  
И правда, тётя Люба вкуснее гренки жарила всегда, а молоко когда давала вместе с Сашкой им в беседке, то с пряником каким-нибудь или помажет маслом хлеб, порежет помидор, кружочками положит, посолит, то прям как красная икра.  
– И соль бялэй, и сахар сладче.  
– Мне Сашка обещала продолженье мушкетёров дать...  
– От и иди за продолженьем... продолженье. От яблоньки гнилок за тень не упадётся.  
– Я, баб, потом тогда...  
– Потом сходи, сейчас сходи, иди де юбками засраты. Покойник вон ходил – и ты ходи.  
Он выходил с веранды на ступени, пропрыгав вниз, пропрыгав вверх, и оставался на крыльце.

\* \* \*

– В Петров солнцеворот, перед гречишной Акулиной, какой за веру во Христа проткнули уши металлическим прутом...  
– Прям голову – да, ба?  
– Нашквось.  
– И что она, жива, что ль, так была?  
– Жива была, но мучилася-то... А после ангел к ей слетел и исцелил от мук; потом, как ангел исцелил, её казнили... Ты посмотри... проклятое тварьё!.. Лятять, поганые, лятять, кому ты, божи, столько робишь их?!

Июню под конец, когда совсем дуреют с жару мухи, гудят в саду, в дому, как будто дом сейчас взлетит, упал с гнезда и прямо в бочку воронёнок. Петруша в бочку заглянул проверить своего жука, какому крылья оторвал, чтоб посмотреть, чего он будет делать, а в бочке лучше всякого жука. И только руку протянул достать, как сверху налетело, крыльями треща и гогоча, ударило в затылок, в волосы вцепилось, царапало, драло, клевало и рвалось... И, руки вверх задрав, он ухватил безумное вопящее живое, держал горячий и тяжёлый перьев куль, вопя от ужаса и отвращенья сам, и отшвырнул, вопя; и стало тихо.

Со лба стекало липким по щекам, щипалось больно, и долго гаснуть не хотел в распахнутом глазу вороньем отчаяньем и ненавистью полный огонёк.

Он вынул воронёнка из воды, погладил на ладони мокрый клюв, потрогал скрюченную, с коготком дрожащим лапку и, отшвырнув ногой под флоксы сломанный вороний куль, сказал:

– Да дура! я спасти его хотел...  
Пошёл домой.  
– Ба! Погляди чего...  
– Ой, мать божья, кровь... убил? Убился? Что?!  
– Убил...  
– Кого?  
– Ворону... там её случайно, баб, она... Ба, погляди, кто у меня! Упал с гнезда...  
– Ой, осподи помилуй, ворожок... Чаво ж, Петруш, дохлятину домой? Иди лопату-то возьми, в курган зарой...  
– Чего зарой, баб? Он живой!  
– И ничаво, живым зарой.

– Ты чё?

– Поговори, ты чё, поговори! Смерть в дом не шла, так сам принёс опять?

– Да ладно, баба! Ладно, баба, бьять!

– Да тьфу на вас, няси, сказала, эту гадь из дому. Всё! И всё мне чтоб, а там хоть Васькой, хоть Засраськой окрести...

– Его на улице какой-нибудь сожрёт, баб, можно?..

– Можно. Дождись, как бабушка помрёт, недолго ждать.

Она пошла к плите и, отвернувшись, загремела над солянкой крышкой. Петруша ворожка унёс в беседку, на тряпочки в коробку «Сахар» положил и Васькой, чтобы знала обзывать, окрестил.

– Ба, баб? пойдя сюда...

– Чаво?

– Смори, как Васька из пипетки пьёт...

– И видеть не хочу ведьмёнка твоего, сам сатана – и выкормыш антихристь. Де взял? А ну-ка, дай сюда! Пяпетку загубил!

– Да, баб, в коробке ж три...

– Три – да твои? твои мне три? ты покупал? Ты покупал?! Да что ж ты будешь делать с ним, с заразой... Ну ты смотри – чертей с пяпетки кормить божьим молоком!..

– Да ба, я с чайника потом её полью, обезворажу.

– Обезворазить он, хляди, рязинка вон и так без кипятков сопрела, берёшь добром, а отдавать чем будешь? Дай сюда!

– Ну, баб, ба, баб! Да ба, ну посмотри...

Она смотрела, как с пипетки кормит Ваську, удивлялась:

– Ишь ты, ой ты заморыш, ой... как к мамке клювом зявкат, надо ж, ты смотри? Чивчив... ой ты, утопыш... Чий бесь бисём, а тожа сирота...

– Чего, баб, сирота – он мой.

– Ой – «мой»... де сам-то свой тельняшка? Под богом ходим, дурачок.

Беседки чердаком к столу придавленная крыша, под складнем дров, под весом синевы, под чёрной ямой глубины над ней, где бесконечности достанет мига, чтобы втянуть и растворить тебя в себе.

– А сколько, ба, у нас?

– Двенадцать соток здесь.

Её земли, своей земли.

И держит паузу оркестр нейтральной полосы. «Маяк» передаёт «В рабочий полдень». Здесь всё успеи, за всем вставай, за всем – ходи. Полей, поли, спасай. Здесь каждый царь своим двенадцати наделам, рассадкам, розам, флоксам, тлям, обеду. Пока не грянет гром и налетевший ураган не опрокинет яблони, как спички, и белый град горох не посечёт.

В примолкших джунглях сада – жизнь доисторических существ: седые тени малярийных комаров скользят сквозь реечки террасы, плетёт гамак убийца-паучок, поменьше ты – и вот он ад. Землетрясения, лавины и вулканы, затмения, водовороты, смерчи, гибель Атлантис – девятый вал твоих шагов.

Под богом ходим, дурачок.

Сочится пыльными лучами свет сквозь кровельные щели, как будто правда над покатою крышей в жарком киселе висит не солнце, а тарелка марсиан, инопланетный луч скользит, не понимает, что за существа: скелет истлевшего зонтика на деревянной ручке, папин спиннинг, галоша, самовар, коробка с Васькой, корзинка с шелухой, старуха и чумазая коленка, прижавшаяся краешком стола.

Под богом ходим, дурачок.

Вслепую ищет смерть – кого втянуть, кого отнять, обнять и отобрать... Разумна? Дрожит на стенке солнечная сеть и гаснет, и темнота от тучи грозовой на их двенадцать бед надвинется мгновенно, тринадцатой бедой разинет пасть и ливанёт...

– Платок тебе давала бабушка, давала? Ты посмотри, чем гадь свою накрыл...

– Ну, ба же! одеяло... ба! Ну, не бери...

– Всю душу бабе измотал...

– Хороший, баб, он, да? Они, ба, умные, по-человечьи, тётя Люба говорила, говорят... как попугай, если научить...

– И ты по-человечьи говоришь, а человеческого не знашь.

– Ба, да чего?

– Чаво... от то и исть, что ничего, не знаеть чибись, кто мамку-то яго убив, а туть вот, Петь, хляди, прям как на кошке шёрстька у яго...

– Ба, да он утонул бы ж у нё!

– Чий бесь бы утонул, чий бесь бы так и лехше? На жизнь-то знашь каку обрёк? Чив-чив малешко, ну прям фокусь, ишь ты... Сходи, отцу-то покажи.

И шёл в пустую с Васькой деду показать, как Васька из пипетки пьёт.

Данило Алексеич с удовольствием смотрел и улыбался, удивлялся:

– У, бабочка моя... У-у, баба! Бьять, баба, ладно, баба, ладно, баба, бьять...

– Баб, кашки можно взять ему?

– Чаво же кашки? Кашки-то, дурашка... они, Петрушка, падаль, мяртвечину жрут, глаза покойникам клюють... комарика вон дай ему... Петруша? Осподи помилуй, а ты пустую-то закрыл?

И Саша Василевских приходила посмотреть, как Ваську из пипетки кормит, и иногда ей тоже доверял, чтоб Ваське в клюв бросала комара.

– Не ест...

– Да ты не так!

– А как?

– Пинцетом...

– Петруша! Чёрть ты многорукой...

– А?

– Пянцеть мой де?

– А я чего?

– Пянцеть, сказала баба, живо!

– На.

И тётя Люба Сашке их пинцет дала.

И, проходя беседку, где с Сашкой «чийбеся своего поханого кормили как младешку», она крестилась:

– Осподи помилуй... тьфу!

## 5

«Бум, бум, бум-бум!» – из глубины дремотной дома, зелёной гробовины стороной, за подоконником пустой.

– Петруш!

– Чего?

– Зайди к нему, оглох, не слышишь, што ль?

– Да слышу.

– Слышишь... Зайди, сказала, ну мне, слышишь! у бабы руки-то в мылье.

– Сейчас.

– Ой мамочка, чаво ж родила, чаво ж жила-т до этого дожить... что ты молотишь, чур древесный, а? Чаво? Пожар горить – тушить не едут... ой, уймись! Петруш, идёшь ты или нет?

– Иду.

– Идёт, никак ули ты не обгонить, она ползёт, а он глядит, ой боженьки мои, дай бох терпенья, заступись...

– Достала, блин...

И голоса без них ругались где-то дальше, в зарослях садовых эхом, распугивая пчёл, сдувая бабочек, плутая и теряясь в солнечном свете. Её и без неё найдёт повсюду, она из дому – он в дому, она из сада – он в саду, и только сядешь почитать «Айвенго», она с страниц его:

– Петруш!

Захлопнешь книгу – голос в нос чихнет бумажной пыльной сединой:

– Идёшь?

– Иду.

Он Ваську опустил в коробочку на тряпки, головку выше положил, погладил пух, потрогал клюв, прикрыл платочком тельце и переставил «Сахар» в тень на лавку под столом, пониже, чтобы воронёнку в глаз не лезла солнца слепь. Пообещал:

– Сейчас я, только деда посмотрю. – И Васька подмигнул смыслённым чёрным глазом.

– На понедельник посылать, за воскресенье будешь, – сказала, мыльными руками отирая пот со лба, и, стирку потянув за край, похвасталась обидой: – Вся гробовина в кровях, вся в лохмах. – И сменной шторы уголок закапал ржавым мылом в таз. – Срывает зло, проклятый... ну жара, ну пекло, ад! Живьём варит... – И, гробовину снова утопив в тазу, большими сильными руками завозила, забила тёркой таза ободок.

– Баб, а в аду живыми варят? Ба-а?..

Она молчала, свирепо тёрла тряпкой по терлу.

– А, ба? Баб, то вон ты цыплёнка мёртвым ж в суп...

И, мыльными навывкате глазами яркий свет гася, пообещала:

– Там узнашь.

Кружили мухи, опадал жасмин, на медленном огне варился щавель, булькал зелено и сонно, в горшке тушились кабачки, на пропечённом солнцем толе труп задушенной котом Добжанским жабы подсыхал, и астматически посапывала в шланге закрытая канальская вода. Покойник в стену молотил, царапал, ныл, сад плыл горячим киселём, и от канала по кургану тянулись долго пароходные гудки.

Он поднялся ступенями веранды на крыльцо, прошёл канатоходцем до пустой по длинной тени швабры на полу: оступишься – и разобьёшься насмерть. В пустой ещё держал прохладу старый дом, в забитое раздавленными мухами окно под занавески край забралось солнце. Покойник морщился, слезливо щурился на острый белый свет – и тот горел пятном на маленьком, похожем на засушенный лимон лице.

Кулак набрался сил, поднялся:

– Бум!

– Уймись! – Она ударила той стороной стены в ответ, дед замахнулся, стукнул тоже.

– Петруша! чёрт пропащий, де ты там?

– Да здесь я, ба, сейчас...

И, обойдя полог с опаской, чтобы не досталось тоже с кулака, как в жизнь не раз уже бывало, прикрыв две скрюченных ступни зелёным пледом, задвинул занавеску, солнце, летний сад, горячий полдень, птиц чирик, тропинку до калитки, канал, курган, дорогу к станции, «Союзпечать», с мороженым палатку, вагончик «Квас», одиннадцатый их до станции автобус, рынок и триста сорок пятый до Москвы.

– Всё, дед? Так хорошо тебе?

Данило Алексеич проследил Петрушины шаги к двери, облизывая пылью спёкшиеся губы, впуская воздух свистом в голый рот.

Петруша обернулся:

– Де, пить хочешь?

– Неть.

– А писить?

– Неть, бы баба.

– Не намочился ты? сухой?

Дед отвернулся к чёрному окну.

– А ничего не хочешь?.. Де?..

– Да ладно, бьять.

Петруша дверь закрыл, но взгляд прошёл за ним, подул, перебежал мурашками под майкой.

– Ну? Што он там?

– Да солнце лезло, ба.

– Задвинул?

– Да.

И засакал с крыльца, меняя ноги, пропрыгал на одной скамейку и её, допрыгал до беседки: прыг-раз! прыг-два! прыг-три!..

– Попрыгай мне, бесок, земля-то вон расстúpить.

Прыг-раз! Прыг-два! Прыг-три-четыре-пять!

– Дом рухнет... хватить, говорю...

Вошёл в беседку, замер над коробкой, округлив глаза...

– Ба... Баб?

– Чаво?

– А Васька где...

– Чаво?

– Мой Васька... баб?

– А бабе знать?

– Ты не брала?

– А бабе дел?

– А где же он...

– Де сдал, архангелы не брали...

Тяжело спрыгнув, брякнул на пол с поленницы кот Добжанский, сморгнул, слизнул с губы листочком языка весёлый птичий пух, зевнул, раскрыв и щёлкнув пасть, прошёл, искря дегтярной шерстью в солнечном свете, и сел под лавочкой у ног её, заумывался.

– А вон он де, Петруш... Да, Васька? Васька в Ваське...

Петруша медленно пошёл к коту:

– Кись-кысь... хороший котик... хочешь молочка?

Кот замер, лапу вверх уставив, следил за ним, не веря в молоко.

Петруша бросился, кот подскочил и, развернувшись в воздухе, огромной чёрной птицей садом полетел.

Она расхохоталась вслед коту, сквозь всхлипы повторяя:

– Кись-кысь... хороший котик... киса-кыса... Хочешь после кровки молочка-т?

Он сел на уголок завалинки бетонный.

– На камне не сиди, застудишь жопись, осподь детей ня дасть. Ой, не могу... кись-кысь! Чийбись-то де? Ба, де? – отмахивая слезы смеха, проскрипела: – Чий хохотун-т напал? Ой, радость не к добру... Вставай, сказала, ну!

6

В пустом гробу похоронили Ваську. Коробку «Сахар» в «Правду» обернули, красиво лентой обвязали и пошли.

Горело солнце. Было жарко. Пахло липой. На небе ватные пылились облачка, и чайки рыбок уносили в синеву, сомкнув плотней железные крючки.

И смерть была внутри коробки и снаружи, невидимая смерть как будто просочилась сквозь, в платок впиталась каплями с пипетки, пахла Васькой, обманула, хранила солнечным теплом песчинки сахара на дне, как будто всё могла, имела право убивать. Но убивала жизнь, не смерть.

Следил за ними, в зарослях кургановых мелькая, убийца кот, Добжанский душегуб. Петруша нёс лопату, Сашка – гроб за бантик, в ногах её вертелся, от восторга лая, Шарик, дурында пёс, глупее не найти.

– Убью его, гадюку, гад гадючий, кот свинючий, сволочь... Шарик, фас!

– Фас, Шарик! Фас!

Но Шарик шерстинил коленки, петлял в ногах, вилял хвостом, катался кубарём в траве и, хлопоча ушами, подлетал, стараясь облизнуть ладонь, которая послала убивать.

– Блин, Шарик, фу! ну ты! Всю руку обслюнил...

– Фу, фу! Да фу ты... стой! Куда? – Съезжал в разрытое, притявкивал в восторге, на все «сидеть! лежать! служить! дурак!» – лез целоваться и, отбегая, с ужасом скулил, увидев стрекозу или лягушку.

– Чего он у тебя?

– Да он лягух боится.

– Охранный пёс, Мухтар...

– И что? Зато он не кусается вообще.

– Собака то и есть, чтобы кусаться.

– Не то и есть.

– Собака – кошек убивать. Я бы овчарку лучше бы завёл...

– И заводи.

– Немецкую овчарку...

– Заводи.

– И заведу...

И он ещё копнул, срезая зло запутанные корни, какими крепко-намертво трава прошила землю, чтоб никого не выпускать наверх, кроме себя. Копал и вспоминал, как папа обещал купить овчарку, а мама обещала разрешить, но только бабе ничего пока не говорить, а то она с ума сойдёт и скажет: «Осподи помилуй! вы совсем с ума сошли?» Они уже придумывали имя ещё не существующему псу, и он сказал: «Мухталь». – «Мухтар?» – «Мухталь!»

А папа говорит:

– А если девочка, то Муха... Ну, брат, пора на боковую.

– Не пора.

– Э, нет, пора, дружище, завтра тоже будет день.

– Не будет.

– Куда ж он денется?

– А Баба-яба съест. – Вцепился в стул, но стул поднялся в воздух вместе с ним, и умываться коридором полетел, и, пыжась, чтоб не рассмеяться от восторга, бомбардируя тапками паркет, он всё же рассмеялся отражению себя, и мамы с папой в ванной, и в невесомости взлетевшей из стакана в руку щётки поймал её, как ни старалась щётка улизнуть, почистил зубы

сам и полетел в постель, где сразу стало скучно, как скучно после праздника в подарках, каких так долго ждал, а новых снова жди.

– Что, брат, весь день потратил?

Он посмотрел на папу молча, безнадежно: потратил день, такой хороший, выходной. В окне сметает снежной пылью в темноту всё, что прошло, чего уже не будет, дорожку через детскую площадку, их следы, качели, автомобилей снежные горбы; посуда вымыта, тарелочка не звякнет, в квартире тихо-тихо, никого. Одни часы по комнатам стучат. Тик-так. Так страшно...

– Ну, на тебе ещё. Смотри не доедай, оставь на завтра.

И, в рыжий мандарин расплющив нос, понюхал и вдохнул остаток дня, который можно было сохранить теперь до завтра, а можно было и до послезавтра, можно даже насовсем, наверно, сохранить.

День пах походом лыжным, бездонным озером и дымной полыньёй, как будто подо льдом в реке уху варили и рыбаки, сидевшие кругом, горячий суп черпали сразу в котелки. Оранжевого солнца циферблат в волшебном городе, на золотой горе, какую охраняет огнедышащий дракон с пылающим под брюхом снегом.

День провалился в белый цвет, и по сияющим волнам, облитым сахарной глазурью, взбиралась вверх и улетала вниз лыжня, две полосы с раскатом синим параллельных, в слепящем далеко сходящихся в одну.

День вытекал из термоса горячим сладким чаем, был бутербродом с папой пополам, наполовину с колбасой, наполовину с сыром, присыпанным махоркой «Беломор», лесная стража пиками держала горизонта высоту с застывшим в ней штрихом аэроплана.

День был арбузной хрусткой коркой снеговой, свистящим крепким ветром вниз горы, летали между сосен белки, и красногрудые, как на раскрасках, снегири ссыпали с веток сахарную пудру; и прямо к дачному каналу вела ледовыми накатами дорога выглаженной солнцем ленты от реки. День проплывал на варежках застывшими клубочками из снега, троллейбусом, в окне оттаявшим окошком пяточка, в какое видно возвращение домой, исчезновение того, что только было в ледяном кружке... и больше нет: сиденьем-облучком над самым колесом, где дух троллейбусный гудит теплом и ноги тают лужицей с креплений; капустным пирогом, когда к себе вернулись; борщом и жареной картошкой, мамой. По телевизору «В гостях у сказки» шли.

За окнами мело, волнами заметая двор, чужие окна как картинки, в каких как хочешь можно угадать, что нарисовано внутри: у тех всё будет хорошо, у этих – тоже, и нос дышал в волшебный мячик, полный долек, мандарин, которые растут вечнозелёным деревом у моря, и он решил не есть оранжевую вечность ни завтра с послезавтра, никогда.

Белым-бело, над перекатами кургана летели парашютики семян. Снежинки таяли на стеклах, на ладони и исчезали насовсем, а парашютики садились в землю, парашютисты отцеплялись от снежинок и возвращались по домам.

– Смотри, я бог, – и Сашка дунула на одуванчик прямо в Шариковый нос, и Шарик фыркнул и чихнул, затрясся от конца в конец, разбрасывая летние снежинки. Был одуванчиковый, пыльно-снежный пес, и парашютики семян летели из него какой куда, кому как повезёт, и плыли по воде за дальний поворот, где исчезали или появлялись разом гружёные громады баржи, зыбкие лодчонки, трёхпалубные башни корабли.

– Не ты, а он.

– И я, его хозяйка.

Парашютики летели, приземлялись ближе, дальше, в береговые камни, на траву, в раскопанную яму на земле.

– Тут человека можно закопать уже, да хватит...

Для коробки «Сахар», в какой от смерти только пух, пипетка, носовой платок старухи в весёлый розовый горох.

В ногах сухими комьями земли с пучками выдранной травы, как три крота, копали ход подземный на глубину сырой и тихой ямы навсегда.

– Добжанского кота сюда, раз Васька в нём.

Кот снова промелькнул оврагом.

– Шарик! Вон! Да вон же! Фас! – И Шарик наконец помчался, твякая самозабвенно радость, но у оврага, где лягушки, заскулил и бросился назад, скатился в яму, счастливо затыкал из неё.

Коробку опустили, закидали, утоптали, в две силы дотащили с берега гранит, букет ромашек с васильками сверху положили, постояли, помолчали и пошли.

Ромашки-васильки через неделю обступили Васькин камень, и стало ничего не видно из травы.

## 7

Варился на веранде щавель, булькал из-под крышки, болотные пуская пузыри, плюясь на жирный липкий край плиты.

– Опять, ба, шавеля...

– Казните-миловайте, барин! Пётр Иваныч! Кресть святой! Все ананасы-то сошли... Мой руки и садись, хляди – по локтя руки-то в земле...

– Я, баба, суп с лапшой хочу...

– Лапши зямля не родить. Ешь что даю, а то наподдаю.

– Тут, ба, жуков...

– Жуки? Да де? Чаво мне говоришь? Жуки... ну де?

– Да вон, полно...

– И ничаво, откинь на край... побрезговал, какой... Сказала – ешь, остынет, жук не ядь, в войну младенцев бабы ели, ешь.

– Не ели.

– Ну, не ели, много знаить он, какой... Не ели... ели. Родить и съест, а ты как думал? Голодь. По голодам такие люди, Петя, что ты... олки! родную маму съест – не посолить.

– Чего – свою?!

– Чего ж свою? Свою. Чужую кто ж те дасть?

Она была из спецпереселённых, раскулачка, ей всё до дна, и корочкой утрёт, подлижет – мыть не надо. Беззуба грызть, а жалко хрящик, жилку, жирянок. С куриной кости молоточком раз! – тюк-тюк, потом сосёт, пока не выплюнет без сока жмых бульонный, посмотрит с сожаленьем, губами пусто пожует, подумает, доковыляет до буфета, сухарик с полочки возьмёт, макнёт в компот, компот допьёт, а муха залетит – и с мухой.

– Ты с мухой, ба.

Она заметит с сожаленьем:

– И мух-то ни было Суйгой.

Ещё подумает, припомнит, скажет:

– И рыбы не было в Суйге.

Крупа прогоркнет, запаршивает прошкой, моль в ней гнездо московское совьёт – и эту сварит, съест одна, подгарку отскребёт, – скребёт, скребёт сковороду с углём железным. С клеёнки крошки на ладонь – и в рот.

– Сидю на берегу, ледышку шошкребу, сосу, под ней земля – и ем, она сыта, вон, до сих пор, хляди, Петрушка, пухнуть, – и даст ему под фартуком потрогать, как пухнет, бродит в ней земля тугим огромным неохватным шаром.

– А камни, баб? Ты камни тоже ела?

«Олька ела, – скажет, камни. – Криком помярла».

«Чатыре речки было на Нарыме – Суйга, Проточина, Горбѣц и Палѣчь, воды-то много было», – говорила. Там, говорила, люди мѣртвых ели, «то, што ли, мѣртвые жавых».

Он думал – в голод, прям чтоб голодина, когда уже не можешь потерпеть, то можно руку, например, себе отрезать, съест... наверно.

– Ой, дура, стой-ка, Петь, забыла – сальца ж взяла в деревне я, полакомись чичась...

И резала в деревне взятое сальцѣ, с мясной прослоечкой, белее снега, в седой от перчика тряпцѣ, кристаллах соли, с щетинкой кожи, в чесночке.

– Свянинка-то кака-то... как по маслу, што только хрюкала чичась...

– Не, я не буду... ба, не режь!

– Сябе. Чаво орѣшь? Не хошь – не ешь, а баба съест. Ну, будѣшь, што ль?

– Ну... буду. Ты только, баб, потоньше режь...

– Потоше – не бумага, бабе делать нече, резать два разá. – И резала шмотѣм, ждала, пока откусит, не спускала глаз:

– Ну, што?

И он, жуя, кивнѣт, что очень вкусно.

– Ищѣ тебе?

И с удовольствием злорадным, как будто провела коварного врага, отрежет новый шмоть, подвинет хлеб:

– Балуй, пока жавой, в земле-то черви будут баловать.

И есть вдруг затошнит опять.

На сон грядущий, чтоб на чистых пятках в рай, обмоет косточки в тазу, водичкой тѣплой с ковшика польѣт:

– Чим токо держится душа... Цыпля-стыдоба, не кормить, скажут люди, бабушка тябя, ой, бухенвальд ты бухенвальд...

– Чего, баб, Бухенвальд?

– Букѣвый лес.

– Чего букѣвый лес?

– Да каждому своё, кому букѣвый, а кому – дубѣвый... ты смотри, одни мослы торчат, на рѣбрьшках играть...

– Не надо, ба! Не трогай, баб! Щекотно!

– А это де побился, золодей?

– Не лей, ба, щиплет, ба! Не надо!

– Ядьком чичась...

– Не надо йодом, ба! Зелѣнкой, ба!

– Зялѣная кровать, а бабушке стирать, ядьком, сказала, меньше будѣшь бегать...

– А-а-а!

– Тярпи. Осподь терпел и нам велел, рожают бабы вас-то, как ты думаешь, больно? Тябе не ципку ободрать, подуить бабушка давай.

– Не надо!

– Подуеть бабушка, заразу сдуеть, а то зараза попадѣть – и будить баба светы хоронить, давай, нягожа, оберну, замѣрз? – И завернѣт его в большое полотенце.

Уже не холодно, мурашки разбежались под пижамой. Он почитает «Ёлки на горе», или «Мюнхгаузена» книжку, или какую Сашка почитать дала.

Белеет горб еѣ перин высоких, лампадки скачет над Помпеей огонѣк, под тусклым пятачком настольной лампы она листает книги чѣрной тусклые стихи на пожелтевших листьях.

– Царю нябесны божи правый, истины твоя над сякое создание, прости сей день дялѣм и словом, помышленьем, не прогневишь и ниже помяни. Ты бо еси бох наш во сѣм, рука твоя о нас без всякого ответа недоумаваши уповахом, се яко царствие твоѣ, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Аминь... Перекрестись. Перекрестился?

– Да.

– Не видит бабушка, ну, де? Хляжу.

– Чего, ещё?

– Исть лишний грех, а кресть на мир не ляжет лишний, перекрестись, сказала, ну! кресть чёрта отгонят.

– Нет чёрта, ба.

– Да вон сядить.

И чёрт сидит в углу, под тумбочкой, где шевелятся тряпки.

– Всё, спатьки, Петя, я гашу.

Во всем дому она на ночь погасит свет, ещё разок из горницы уйдёт, себя перепроверить, «не дай осподь закоротить», подёргает все вилки из розеток, посмотрит, крепко ли замки, щеколды на двери. С её шагов тяжёлых легче на душе, уютней тикают часы, надёжней тоненькие стены, задвинет занавеску – как спасёт. Проверит у входной между галошами колун нагнутой ручке, от воров, когда из Долгопрудного канал переплывут, пойдут участки грабитель-убивать – оборонять, и успокоит:

– До нас-то, Петя, не дойдут, дасть бох.

– Чего, ба, не дойдут?

– Ширбоко здесь канал переплывать, началом линии пойдут, до нас собаки слаютъ...

– Ты услышишь?

– Чаво же не ушлышу-то...

И подорожником заткнет в ушах от старика, во рту от гнили – и храпит.

Собаки переключкой в темноте с начала линии всё ближе воют, и сердце думает: идут...

– Ба! Ба!

– Чаво ты...

– Ба... Идут!..

И с подорожника шипит:

– Да шпи, ополоумный, первый чась...

– Ба... да идут!

– Не те. Ш покойников они, ш воров-то лають, шпи, во шне, бывает, и шмерть прошипшь... то мало осподу приштало-то во шне? Который угорить, какой живьём сгорить, какого котик серой убаюкать.

– Какой, баб, котик... Ба!

– Чаво?..

– Какой, ба, кот ещё?..

– А то шквось штены ходить коть, какой жамок ни жапирай. На хрудь приляжить, старь, молодь – приляжить, швярнётся, замурчить и в камянь обернётся. Тяжёлый камень, не вздохнуть. Удóхнешься, под утро баба хватъ, а уж холоденькой ляжишь, прибрал осподь бессмертну душу.

Собаки лают, воют, дверь скрипит, из Долгопрудного бандиты линией идут, как поросей, хозяев вяжут, режут, она храпит, проснётся и бубнит за стеночкой покойник; заснёшь – и смерть проспшь, проснёшься мёртвым. Бессмертну душу в рай, жарок червям, а косточки земле.

– Петруш, жавой?

– Живой.

– Жавой, тохда вставай.

8

Добжанский кот гулял с тех пор участком в полной власти, пока их в доме нет, нахально на веранду заходил, с кастрюль сбивая крышки, громыхал, тянул курятину с бульона, с безделья жаб и бабочек давил, завалинкой укладывал придушенных кротов и мышек тюльки, под пугалом сидел, синичек караулил, гад такой.

Петруша шланг опять тянул, травой разматывая кольца, и, отвинтив рычаг, окатывал кота и пугало водой.

– Ты чё ж творишь, бисова сила?

– Я, ба, кота...

– Да де кота? Кота няма, а баба вся в мокрѣ.

– А я, ба, видел, что ты там?

– Проклятый идоль. Хлаза из жопись и руки из овна.

Кота поймала на своём участке Сашка, на полосе нейтральной с рук на руки отдала, судить.

Судить затиснули в корзину, едва с шипящей мордой и когтями упихав, закрыли с бочки кругом, поясом на бантик, сверху кирпичом, к сараям унесли. В тени сиреневых кустов под верстаком за воровство, убийства и разбой, особенно за Ваську, голосованием два на одного приговорили к смерти, чрез повесить или утопить. Пока судили, кот орал как режут, выли и дрался сам с собой, спиной под бантиком приподнимая крышку и кирпич. Так жить хотел – через плетёнку лезла дыбом шерсть. Они, убийцы, только одного боятся – когда берут и убивают их.

За адвоката говорила Сашка. Что если всё-таки его *того*, то вместе будет с Васькой, раз Васька в нём, – а может, там живой?

– Ты дура, что ль?

Пока поспорили, Добжанский душегуб корзинку опрокинул и пулей сквозь садовые ряды к своей спасительной Добжанской побежал и больше в руки даже Сашке не давался, на жилы шмоть – и то не подойдёт, признал врага в лицо и власть над силой силы. Но меньше воровать и убивать не стал – хитрей, шустрее воровал, быстрее убивал. Почти догнав его Добжановой калиткой, где кот, как тень, в та-а-кой вот под доской зазор – и жив, а ты в забор и лбом, Петруша обещал ему через сомкнувшиеся доски:

– Ну ладно, сам подохнешь, крыс.

Ему, как в «Острове сокровищ», нарисовали с Сашкой на картонке круглой метку – череп, две кости, подсунули под щель Добжанского забора, и долго по соседям глупая ходила бабка с чёрной меткой, выспрашивать, *чаво жса это? есь ли совесь у людей?*

В пустом гнезде, приставив лестницу к стволу, повыше лестницы вскарабкавшись по веткам, нашёл Петруша сколотую Васьки скорлупу и ситечко, три чайных ложки, три гвоздя, шурупов, золотое мамино колечко, что потеряла в том... нет, в том... нет – в том ещё году.

– Ба! баб! гляди чего... в гнезде нашёл.

– Чавой-то? Ну-ка дай-ка... божички мои, не то ли, Петя?

– Мамы...

– Покойник, слышь? Колечко Маши-то! Кольцо в гнезде нашлось...

– Неть, бабочка моя...

– Чаво ж ты – нет? Не помнишь, што ль? Какое потеряла в том году, не помнишь он...

– Бы бабочка моя? ну ладно, ладно...

– Иму и ладно, божи мой... А што ты помнишь, што ты помнишь, гуль ямной, чаво ты жил, скажи? Как лил да гнил... как хвоц с подъяубы до подъяубы вбхрал...

– Бьять! – И от удара в гробовину лязгнуло стекло.

– Одна похоронила...

– Бъять!

– Бей, сучив коть, без памяти помрёшь, пред богом чисть и на земле не виноват... Чаво творишь?! У силы голова в кулак ушла, куда молотишь, треснет же стекло... Ну, бей, на щасье черепков в совочек заметю.

И, в кулаке тесней сжимая мамину пропажу, под крик, под стук Петруша вспоминал, как позапрошлым летом кольцо искали с папой по всему участку, за калиткой, по сумеркам, до самой темноты, и в темноте траву пятном фонарика света. Она с крыльца на заросли крестилась, говорила:

– Господи помилуй, не к добру...

И мама плакала, а папа говорил:

– Маруся, муравьёв-то пожалей, тебе кап-кап, а им потоп. Найдём.

И вот нашли.

Нашёл и думал, как бы маме с папой показал сейчас кольцо, и с любопытством наблюдал, как подоконником от стука ползёт на край её пиалка с киселём.

Вся вишня кончилась, и, выплюнув последним камушком на блюде в вишнёвый холмик черепков, Петруша тюкнул пальцем в сладко-терпкий сок и, палец облизнув, собрав с тарелки остальные капли-лужи, проголодавшись, через стол на папу посмотрел.

– Что, брат, ещё бы, а?

– Ещё бы... да...

– Хорошенького понемножку, – сказала баба, тоже в блюде косточкой стрельнув. – Животик заболит.

– Пойдём-ка, брат, – и папа ссыпал с блюда и перемешал в ладонях погремушкой от круглых косточек уже сухие кругляшки.

Они пошли за дальнюю калитку, разрыли на кургане ямки, похоронили косточки в земле и сверху в каждую могилку воткнули спички с красной изоляцией, как флажки. Петруша с подозреньем оглядел вишнёвое кладбишко: как в сказке вроде обманули, обхитрили Буратино денежку зарыть.

– А будет что?

– Да сам не знаю, брат, ты просто поливать не забывай и жди.

И ждать, чего не знаешь, было даже интересней: он поливал, не забывал и ждал до осени чего-то, не дождался. Всю зиму вспоминал и ждал, особенно когда в заказе мама или папа приносили банку чешского вишнёвого компота, консервной косточкой втыкал в цветочные горшки и тоже поливал и ждал. И следующей весной вишнёвый садик за калиткой ростом чуть повыше стлевших в зиму спичек в три черенка поднялся над десятью флажками из земли.

– Петруша!

– А?

– Уснул-то де? Сказала-т что?

– Чего?

– Да мухой, што ль, сдувает, говорю? Чаво-чаво... Обмой, обтри, да к папе в тумбочку положим, чаво ж один, как не женать, ляжить, ручальное колечко-то, чаво. Ивана там отдали, его-то не было на ей.

Дед больше не стучал, отвоевал, отбушевал, отплакал; горячий ветер облаком парным нёс от кургана мёд цветущих лип, мешая с облаком обеденных котлет. Притихший дом, умолкший сад и свечи синие люпинов, на светлой стороне пустой стена, горячая плитой. На солнечном огне тяжёлый зной волнами зыбкого желе и шорох мёртвых лепестков, воронкой закруживших дном эмалированного таза. Она шинкует, крепко ухватив охаль кровящей зеленью Иван-травы, газеткой расстилая на полу «шушить», и муравьиные ручьи плутают в буквах прошлолетних новостей, среди сиреневых и жёлтых лепестков.

– Двоеголов, Петруш, жанатая трава...

И он кивнёт, не слушая, не слыша.

– На стебле-то одном, смотри, он да она, Иван да Машка...

И с корнем, как попало по жару, он собирает по кургану, единым стеблем выдирая синезёлтые цветы, и высыпает из мешка поверх по горку разноцветную в тазу.

– С землёй куда нанёс, землю шустить?

– Они не рвались...

– Не рвались... ножницы на што?

– Так ты же не дала.

– Чаво ж все ножницы тебе, бездонному, курганом хоронить? Иди, стрясай...

И сыпется под ноги с бороды кургана мёртвая земля, и разбегаются в саду лесные муравьи. Затиснув ниткой рот, стирая кровью пот, она шинкует с муравьями, с пальцами и плачет.

– Чего ты, баб? Давай, ба, я...

– Остань ты, Христа ради, оть мяня, хлаза б мои не видели тебя да дети не родили... –

И так рванёт точёной саблей стали по стеблям, что долго кровь за ней – кап, кап, густыми осьминожками в газету.

Солнцестоянья бог, Купала с Костромой, купалья мавка – иван-да-марья, верности трава, два цвета на одном, соединённые стеблем каким-то добрым волшебством счастливым. И, руки обжигая, плечи, шею, муравьём до пота с кровью злым, переменяя, где от солнца потеряла цвет, она сыпает серый чай по банкам, чтобы покойника зимой с одра поднять отваром с запахом газетного листа и чёрной муравьиной солью.

– Петруш...

А может, показалось, не звала.

– Петруш!!! – как будто кто зарезал, заорёт.

– Чего?

Он подойдёт, она молчит и режет.

– Чего ты, баб? Баб, ты звала?

– Не дозовёшь.

– Чего?

– Убей-ко вон – комар, што ль, чешется спиной, не дотянусь.

– Не, нету, баб. Чего ты плачешь?..

– Нету? Чешется-то там...

– Ба, ну чего ты... баб?

– Чаво. Шмяшно пожила, от и плачу. Короткий век, а память дологá, да што-т её на щасье не хватат. Петруш?

– Чего?

– Да чудо божье знашь? в земле не гнивлеть, в крематорьях не горить, чаво такое-т, а?

– Чего?

– Чаво. Любов-то. В аду ли плавать, то ли там кують...

И он ответит:

– Да-а...

– Чаво те – да? Чаво ты знаш-то? «Да», он говорить... Колечко де? Ищё дай похляжу.

Он показал ещё колечко ей.

– Не зря нашёл в пустом гнезде нябось. Што разорил, осподь соединить привёл, как в жизни смертью разлучил, так в смерти не разлучишь... иди вон, говорю, почись его.

– Чем, ба?

– Да чем... ничем. От смерти не отчистишь.

– Содой?

– Хоть и содой. На кресть послав, чем только рук ни заливал, а сё вина кровить, намылить – и опять, намылить – и опять... уйди ты, Петька, от мяня...

– А где, ба, папино лежит?

– Иван, сыночек, осподи мои... вон мамка-то, смотри, твоего убивца кормить, нету сил моих. Нихто не помнить, трижда не прошло, и де они, друзья-т твои? Друзья... Помру, могилка зарастёт, садь зарастёт, жись зарастёт, как не была... Чаво молчишь-т? В земельке не перчить, не помнить, не хрызёт, не давить, тихо... Ты там, а мама-то жива в гробу ляжить...

– Баб, где, ба, папино лежит? Куда, баб, положить?

Шинкует снова, ножиком стучит:

– В зелёной тумбочке, на нижней полке, слушаешь-то чем? што бох молитву, прости мне осподи мои...

И он в зелёной тумбочке из папиной коробки взял кольцо и, вместе с маминым в кулак зажав, за дальнюю калитку зашагал.

– Что будет?

– Сам не знаю, брат, ты просто поливать не забывай и жди.

\* \* \*

До полдника с обеда – мёртвый час. Она верандой на диване «Сад и огород» – четвёртый номер, прошлый год – листаёт или спит. Храпит и носом угол занавески шевелит. На занавеске давленная муха, на блюде корочка в жиру, оса в окно через стекло стучит. В кармане крошки юбилейного печенья, овсяного надкусанный кусок и странник-муравей, кремь с канала, спички, чёрная резинка. У Василевских тихо так, что слышно, как читает Сашка в гамаке. Добжанский кот исчез; за бабочкой погнавшись, Шарик растворился в солнечном пятне; за волнорезом тень качает сонная вода.

По дачным линиям чертополох, бурьян, полынь, рябина, во рту «кис-кис», на зуб прилипнув, тает. Тоска. И будит сон прикосновение острое крапивы, когда сидишь в кустах и ждёшь, чтоб курицу пугнуть, коленку чешешь. Чешешь и зеваешь, зелёный клоп-вонючка веточкой малиновой ползёт. Бывает, съешь малину – он внутри, идёшь плюёшь потом, плюёшь, хоть выплюни язык, она увидит, усмехнётся, спросит:

– Клоп, Петрушка? то только клоп, а жись-то будет посладчей.

Из рукомойника лениво стечёт по язычку и капнет раз на час, день тянет время. Из ржавой стяжки крана сочится в заболоть нейтральной полосы вода, и через час ещё раз – кап. Выходит на террасу тётя Люба, тарелки мыть к трубе идёт, тарелки звякают послеобеденным позвонком, покойник спит, она уже в саду, и в доме тихо, как в гробу.

Как обещала, за Самсона установились жаркие деньки и светлые до солнца ночи. Ложились запоздно, вставали рано: ляжешь – и не спится; он читал. То «Изумрудный город» Волкова откроет, с картинки до картинки пролистнёт, зевнёт; то Сашкин «Лунный камень» – думал, детектив, а там любовь и скука; то папой недочитанный Гайдар. То Квентин Дорвард, королевской гвардии стрелок в обложке голубой, с пером на шляпе, представив Изабеллой Сашку... Так замрёт, с открытым ртом воображая, как мчатся на конях от гадины Гийома к границам графства, или, как на картинке толстого Дюма, она ему покажется похожа на графиню Монсоро, один в один. Или Айвенго повторит, чтобы запомнить, не запомнив: «Кому не страшна смерть...» Кому не страшна смерть?

– Читаешь? Всё читаешь... ну, читай, и бабушка читала, всё впустую, дождём в плиту вода, и сиравно-то помярать, што с ум, што с дур трава растёт, оглянись – де жись? А он она, прошла. Де щасье, де бяда? В земле сырой.

Она хранила в горничном шкафу, на вешалках, по ящикам и полкам складни папиных и маминых одежд, костюмов, платьев, курток, свитеров и маек, перебирая место под живых,

которым в шкафе не хватало места. Рукой махнув, всё оставляла так, захлопнув дверь, садилась на пол с папиной рубашкой перед шкафом, разгладив на коленях, размышляла:

– Не сносила Вани... и юбку Машкину кому тяперь? Хорошая совсем, что ль, Любке, Петь, отдать?

– Отдай.

– На Сашку перешьёт, материя-то вон, на тряпку плохо будет, не впитает. От жил – носки купил, да не надел...

Ещё похожа Сашка на картинку в «Монте-Кристо» тоже, а он тогда Эдмон Дантес.

– Чего ж... Жавая тварь не знает часу своего, а то бы упаслась, она хитра, родную мать не пожалейте, душу чёрту за животь заклáст, от ей-то и предел – Спасителя рука. То, если не утопь, сломаешь шею, а не сломашь – зарежут, божи сохрани, а не зарежут, так помрёшь, все волею осподней, и проклят будет, сказано, какой удержит меч его. Передь потопом люди тоже ничего не знали, ели-пили, ничаво... И будут пить и исть перед судом, а он в любой же час приду, сказал...

– И что, ба, будет?

– Будить-то? Да што... Пойдёт трава охнём, ляса гореть, вода вскипит, и воздуху не станеть, из неба лавой потекёт, и огняные птицы полетять. Изь-под земель полезеть творь, голодоморь, и всякая найдёт на силу силой, и всякий всяк пожрёт, и выйдут мёртвыя из адава огня с могил, воскресие для штрашного суда...

– А кто, баб, спрячется?

– От бога-то куда?

И, холодея от жары, дыша через подушку, чтоб понять, как это будет, если воздуха не будет, в канале не спасёшься, если там вода вскипит, а с неба лавой потечёт, то крыша точно загорится, он спрашивал:

– А что живые, ба?

– Чаво жавые?

– Живые денутся куда?

– Куда ж жавые? Все помрём.

Над вставленной когда-то в раму копией Брюллова «Гибели Помпеи», облизывая в копоть деревянный потолок, чадила ночь и день лампадка, обжигаясь светом, падали на ска-терть, подоконник, за диван с сухим «тук-тук», «пш-ш-пш» летучие жучки; и, на последний день крестясь, держась рукой о край стола, она взбиралась на диванчик мамин, чтобы подлить «неугасимой» масла на угасший фитилёк.

На горничном столе, накрытом старенькой клеёнкой, засыпанной с божницы дохлым мошкарём и лепестками скисших, опадавших в вазе флокс, лежала книга чёрная её, с закладом «Правды» язычков, автобусных билетиков и чеков, на тех местах, какие вслух перечитать покойнику с Петрушей или самой себе переписать в поднёвную тетрадь. К строке строкой, как блохи, в ней лепились буквы, на пожелтевших, как осенние листья, листах, закапанных свечным, на непонятном языке.

На сон грядущий, приоткрыв в пустую дверь, читала громко, чтоб покойник слышал. Данило Алексеич слышал и сердился, бил кулаком о гробовину и кричал. И, оторвавшись чтения, приспустив очки, она поверх страниц смотрела хмуро в чёрный выход, говорила:

– Не терпеть бесь в тебе осподне слово, Даниил. Хляди, как кожи рвёт Святым писаньем. – Подняв очки, читала дальше тихо, но шёпот со страниц казался громче и страшнее крика из пустой: – На милосердьё божье тело живо, во жертву святую яму...

Присев на чёрных выверченных лапах, подбоченясь, стояла пыльная буржуйка под столом, в дождливый день до жара прогревая низ столешницы и стул её журнальный, суша подтирное тряпье, резину оплавляя с тапок, выпаривая душно запах пота и мочи.

Гасила свет, и темнота проглатывала дом.

В тяжёлой раме за стеклом, над изголовьем длинной металлической постели, смотрели, улыбаясь, на Петрушу в лунном свете мертвецы. Высокий, молодой, красивый дед Данило, чернявый, как цыган, с улыбкой довоенной белозубой, в актёра Зельдина лицом; сама, как не она, а тоже как актриса, из фильма с Зельдиным «Свинарка и пастух». Подтянутый, в военной форме дядя Лёня, брат её, поднявшись на локтях, откинув крышку танка, как с кастрюли, в которой и сгорел живём, и брат её двоюродный Степан, который без вести пропал в сорок втором; японка с веером да дед Иван, забитый в тушинской плотине сходным льдом.

– Как, баб, забитый льдом?

– Да как... На тонкий лёд удил – под его дело... Так хоронили хробь пустой.

Прабабка Шура, какая в муках страшных от гангрены померла, и папа с мамой, каких Петруша сам убил.

## 9

В Старбеево, среди садов вишнёвых, яблонь, заборов без зубов, зубастых новеньких ворот, плетней в колючей проволоке малины и войны, под птичий щебет, ворчливый говор стариков, дитячий визг и радио «Маяк» гуляла смерть, не пряча будничную простоту свою.

Под треск кузнечного оркестра, постук топора и визг бензопилы по дачным линиям в пыли бродили куры, и баба Ганя головы рубила на пеньке за домом им: тюк-тюк, и горлышки через забор бродячим псам, а иногда давала даром «инвалиду и сиротке, на супы»:

– Верунь? Вам гóрлы-то не дать?..

– Какие наши деньги, что ты, Аня. Вяликий пость осподь послал – душе, сказал, ляхшей.

– Да так бери – соседи-люди, Вер.

– Дай бох тябе, дай бох, спасибо...

– Тебе дай бог...

И, от калитки с красным мешевом в пакете отойдя, она шепнёт:

– Дай бох тябе... как ты дала.

Довольная, в тазу кровё с подтухшим запашком обмыв водой холодной, под жирное жужжанье мух сплеснёт, обмыв, вздохнёт:

– Что нам, что в выгреб – жадная собака, тфу.

И заорёт:

– Петруша! Де ты, бес? Вон с горлом-то спляснула, подыми.

Петруша горлышки любил: грызёшь, сосёшь всё вкусный сок с наваром жирным, и даже косточки посолишь и жуёшь, пока не смелют зубы на плевок.

Тюк-тюк. И с Сашкой под забором бабы Гани – кина любого интересней посмотреть: тюк-тюк. И белые летали перья, куры бегали без головы по ртутной пыли – нечем захвохтать, и жёсткий войлок мяса из бульона застревал в зубах. Петруша ложкой донца от скорлупок в завтрак выскребал, солил.

– Баб, что первее – курица или яйцо?

– Остань с вопросами своими оть меня.

– Ну, ба... ба, а?

– Дяла. Дяла не делашь, все вперёдь стоять, последним занимають.

– Ну, баб, чего первой?

– Пярвей осподь.

– Баб, скока, думаешь, во мне куриных душ?

– Одна... и та не та.

– Чего не та?

– Не та.

– А в курах есть душа?

- Во всём душа.
- Так сколько, баб, во мне куриных душ, а, баб? А, ба? А, ба, в икре?..
- Икра тебе... када икры видал?
- В минтаевой, ба, тоже... баб? Баб, скоко, думаешь, во мне рыбацких душ?
- Да хватить обмышлять суда-туда, осподня пища. Я хлеб жавой, сказал, едящий плоть мою со мной.
- Я, баба, бога ем?
- Всё ешь, белка по стенкам соскresti – и то устал, работа, сляпая бабушка, да видеть, подгребай.
- А, ба, комар меня – то бог меня? А мухи тухляка – то мухи бог или тухля... – И замолчит, с затрешины скосив на тонкой шее головой.
- Всё он.
- Моргая злые слёзы, скажет:
- Он тухляк! – В другую сторону отпрыгнет голова.
- А бить детей нельзя.
- Чаво?
- Нельзя.
- Нельзя – в деревню дедушке пиши.
- Потом едят, не споря, молча, пока опять не скажет он:
- И рыбы... дядю Колю рыбы ж обклевали...
- Он с пьяных глаз нырял, дурак чумной, распетуhalся перед городской... Ох, осподи помилуй, что я говорю...
- А что?
- Не штокай. Человек погиб, не приведи осподь.
- А всех приводит, баб.
- Она зевнёт – и вместо рассердиться скажет равнодушно:
- Уймись и ешь, прохлятый душегуб.
- Доест яйцо, покрошит хлебушком в него, посолит, помешает, снова ест, посмотрит на просвет. Сожмёт скорлупку ложкой – и в пакет, Ивану с Машей на могилку, птичкам. Надев на палец скорлупу, Петруша разгибает, загибает палец:
- Ку-ка-ре-ку. Ку-ка-ре-ку... ку-ка... – пока опять, до головы легка, не просвистит рука её над ухом, и, миновав беды, упрямо спросит:
- Ба-а? Так скока, думаешь, во мне куриных душ? а рыбацких, ба? А, ба? Ба-а? Ба-а-аб? А в боге, ба?
- Пока Петруша со свету ещё не сжил родителей своих, на завтрак папа любил яйцо куриное в мешочек есть и говорил:
- Смотри, Петрухин, так Земля: желток – ядро, белок – как мантия, а скорлупа – защитная кора...
- И, чайной ложечкой разбив кору земную, по целых две, бывало, что съедал за завтраком Земли.
- Доел?
- Доел.
- Доел, так и иди отсюда с хлаз моих. Петруш!
- Чего?
- Иди мне мясорубку вон в беседке прикрути.
- И, на гуляш потяпав в миску срезь мясную, какую даже кошки не едят, наматывая белой леской жил с винта на крест стальной, крутила хрящики и жир на розовое тесто, тряся в усильи хлипкий стол.
- Петруш, устала баба, покрути...

И он крутил на душ из розовато-белых червяков котлет. Она мочила хлеб и лук в прокишем молоке и, с луковой слезой мешая в миске голыми руками, соля-перча, разбив яйцо, месила долго тесто, добела, чтоб фарш от пальцев отставал.

Телят с лошадыми глазами сдавала баба Ганя в мясокомбинат. Крольчатник резал кроликов на рынок – гирлянды хвостиков и шкур. Собачник с зазевавшихся собак, болонок дачных и дворняг на рынке шапки продавал.

У Сашки потерялся на канале Шарик.

– Ко мне! Ко мне! Ко мне! – весь день носилось по кургану, вчерашний день, сегодняшний день.

– Ко мне! Ко мне! Ко мне! – в ответ кричало эхо с другого берега реки.

Собаки грызли кошек, несли в пастях с канала вырытые кости, бросали у калитки белые, как высохшие палки, остова.

– Ой, осподи помилуй, человечьи...

– Коровы, ба...

– Да де коровы, де тебе коровы? Человечьи, Петька, говорю. Канал-то весь на их стоять, кто рыли-то...

– А чё он ба, не сам?

– Де сам? Ой, сам, я не могу, покойник, слышь? Смяшной потешка, чаво смяшишь старуху-то?

И, запивая в полдник сказанное чаем, макала в кружку то заостеневший пряник, то сухарь.

– Вся жизнь на их встаёт, по оба берега курган. Пласты кости.

И в чешуе воды вечерней заката красными кругами расплывался поплавок.

– Клюёт! – И леска, натянувшись, вырывалась из воды, свободным воздухом свистела по дуге, и шлёпался в траву, крутя хвостом, с мизинец окунёк или усатый мшистый крошечный бычок и говорил «бы-бы», кровя разодранной щекой в литровой банке, и Сашка перед банкой на коленях говорила:

– Бедный... бедненький ты мой...

И отдавали рыб Добжанскому коту, а баба с тётей Любой даже видеть не могли такую мелюзгу:

– Опять нанёс. Няси назад. На чёрта червяков переводить.

– Чего на чёрта-то?

– А на кого? И чёрть-то брезгует, не жрёт.

– Да жрёт он, баб...

– Играить. Зачем господню тварь тащить с воды? Была бы рыба-то, а это что?

– Что? Рыба...

– Рыба-то с червя, а червь из сада – саду смерть. Черви – они чего?

– Чего?..

– Рыхлять.

– Я, ба, без них тебе перерыхлю, лопатой вон...

– Перерыхлить... Одна мука да разная рука, лопатой вон себе перерыхли, сказала. Тут. – И, показав на лоб, постукав пальцем, крестилась на улов вечерний, говорила: – Тфу, осподи прости, и знают, а творять.

Червя обкусывал бычок, потом заглатывал крючок, потом всплывал холодным тельцем в банке, и, морщась, нюхал трупик чёрт Добжанский, брезгливо дёргая хвостом, потренькав лапкой, шёл снимать с бульонов крышки, и доставалась рыба червякам.

Сорвавшись, колесо бензопилы с протяжным «тью-ю» скосило голову в деревне псине; в конце их линии электрик в бане насмерть угорел; бабуся Журавлёва на завалинке весь день сидела, пока после грозы соседи не сообразили, что раз и в дождь сидела – померла.

В Старбеево, среди звонков велосипедных, грибных дождей и опалённых солнцем трав, пенсионеров, малышни, подростков, пьяниц, отпускных, собак, котов, гостей, гусей, курей, коров, жуков и мух гуляла смерть. Привычная, не страшная, не добрая, не злая, снимала первый лета урожай. Варение клубничное варила, котлеты жарила, траву на чердаках сушила, рублила, жгла, пилила и давила, закатывала банки впрок, обедать-ужинать звала.

В тазу варенном вязли осы, в чае – мошки, паук тянул прозрачную слонную нить, и в солнечной сети дрожали, осыпаясь, синеглазые павлинки, коричницы, крапивницы, белянки и воскресали ночью в серых мотыльков.

Она из чайника парящим кипятком лила под дом, за лавочку, в ступеней щели, и вытекали смывные ручьи, неся наклоном плитки до травы на чёрный мак похожих дохлых муравьёв.

– Для вас рощу? Для вас сажу, проклятых? Штоб сгрызли мне тут всё, татарева?

– Они, ба, тоже вон рыхлят.

– Рыхлять... Под дом они рыхлять, под всход, под корень, что люди, что они. Одни горбы по саду, ты смотри...

И по ступенькам вниз и вверх крыльцу от утра до заката опять стекали и втекали муравьиные ручьи, военные угрюмые колонны, и на тропинке, долго издыхая, корчился червяк, облепленный проголодавшимся отрядом. Она обматывала шерстью в скипидаре яблонь низ, копала глиняные рвы-осады вокруг стволов, из шланга наполнял Петруша утром их водой, чтоб впласть коры не добрались, и в листиках, пока не видит, переправлял врагов с того на этот берег круговой. Раскладывая камни, кирпичи у рыхлиц и ходов, ждала три дня перевернуть капканы, чтоб кипятком полить проклятое тварьё, и, обивая ноги, падала сама, и в доме хлопала под тапком спичечные коробки-ловушки со смертоносной смесью мёда, серы и дрожжей. В кустах смородины, крыжовника кустах валялись смоченные керосином тряпки, она макала ветки в мыльно-зольные растворы, солила муравейники, перчила, капала карболкой, обкладывала холмики полынью, мятой, чесноком, и за пределы сада в сумерки несли вдвоём переселенцев-иждивенцев в вёдрах, ссылая куличами на курган ссечённые лопатами хоромы, и, перед сном крестясь на образа, шептала:

– Велико, божи, милосердие твоё.

Сад засыпал, освобождённый от врагов, и просыпался с первым муравьём.

## 10

– Велико раз. Велико два-с. Велико три-с...

– Ну, бох тебя храни...

– Храни хоть, не храни, Верунь, а годы-то берут.

– Беруть, да ты своё бери.

– Взяла б, да ты-то не отдашь.

– Чё ж ни отдам? Спасибо скажем. Или своё до хаты не идёть? Несладко, видно, манишь... А комарья-то! Господи помилуй, комарья...

– Не говори... да тут у вас тенно́, Верунь, вот им и рай.

– В правленье, что ль, на их подать, а, Зин? Не с неба ж тень на нас, вон не растёт тут ничаво от них, садила кабачки, а де они? – Она заговорила в шёпот, махнув на василевский яблоне́вый сад.

– Ну, скажешь, Вер, я не могу: на тень-то в суд...

– Чаво ты тень? Какая тень тябе? Пусь яблони хоть ту-то ветьку спилять...

– Не смести.

Она обиженно вздохнула, смахнула комара, повошкала укус, сказала, шурясь:

– Вот тоже, вишь, поганое: лятить, кусат, не знает, сволочь, де своё.

– Дожди, тепло...

- Не говори. Туман такой утрами... Петь!
  - Чего?
  - Ты марлю-то прибил?
  - Прибил.
  - Прибил до новых дыр... ой, Зина, не могу я на его, помощничек растёт, не дай бох помярать – забудеть закопать...
  - Петруша, здравствуй, растёшь-то, с дня на день не узнаю...
  - Не часто ходишь узнавать? – Она с смешком убила комара, смахнула, стукнула опять. Петруша тоже стукнул комара и почесал укус.
  - Не чешь мне, слышь? Всю ночь ворошкаешь потом... Один влетить, зужжить, зужжить, покойник в мясо чешет...
  - Одеколоном мажь его...
  - В уме ты, Зин, одъяколон в живое мясо? Что ж я – пытать его? Сама намажусь – щи-и-и-пить! Ну, ты иди, Зинуль, иди, осподь тябя храни, с тобой с утра заговоришь – луна взойдёт, а дёла не увидить...
  - А, Вера, тли-то, тли-то сколько у тебя, смотрю... Опоорошило...
  - Чё ж, у тябя, что ль, нет?
  - Да вроде миловал господь.
- Они разулыбались друг на друга у калитки: беззубые, седые, осоловевшие с полуденной жары, пустого трёпа, румяные, как подгулявшие на шабаш ведьмы со злым хмельком рябиновки в глазах.
- Моих бери, – она махнула на угол пустой. – Да што тебе-то говорю? Уж ты без «на» хватка бирать.
  - Чего ты, Вер? брала-то, ладно...
  - Ну, не брала... Своё брала и не своё брала... – И подмигнула Дергуновой, плечом широким веско повела на ветхий дом, задвинув угол комнаты пустой в затёмь отцветших яблонь.
  - Брала б, Верунь, да не давал.
  - Ой, не давал... с какой из вас ушёл, не знала, к какой бежать, какой за космы драть...
  - Ходок был, и не говори, Данил Есеич...
  - Ходок... Да ты с проходов по кустам. Ну, старое с помин – прошло да неть, иди-иди, осподь тебя храни...
  - Тебя храни.
  - С деньжищами такими ходишь, и не страшно? Не ровен чась чаво, тут люди-то каки...
  - Да где не люди, Вера, милостив господь.
  - Осподь-то милостив, Зинуля, люди – волки.
- Они расцеловались. Стерев от поцелуев след со лба, себя от Дергуновой окрестив, за ней задвинув ржавень на калитке, спустив крючок, она пошла к крыльцу, приподнимая от земли поломанные весом шапок стебли, сердито вырывая из терновых лап подол. С зелёной стороны пустой откинув занавеску, постучала. Сказала дедушке:
- Ну всё, ушла прибудь твоя.
- Покойник промолчал, и, усмехнувшись в отраженье, она откинула седую прядь со лба.
- Бох знает што за взбесь несёт. Придётся, и ка-а-р, и ка-а-р, как ворон на роднях, не выметешь метлой. Опять отъела полдня, балаболь...
  - Купаться, ба...
  - Какой? Он, таз стирья.
  - Ты обещала...
  - Дела-то сами, думаешь, садом ходить до пляты?
  - Тогда я сам...

– Сходи, сходи-сходи, русалка схватить, в дно утащить, косточки обгрызят, стирая у бабушки поменьше разом станеть. Стой! А ну мне стой, сказала што?

– Я с кругом, баб...

– Вот с кругом-то они таких и любяты, видал их сколько по каналу проткнутых ляжит?

– Кого?

– Кругов-т? А круг – он что? Пустое место, она за пятки из няго тебя-то цап – и вниз поволокет...

– Кто, ба?

– Да кто, русалка-т. Всё, нет, сказала баба. Нет.

Он снятое с верёвки полотенце взмахнул назад, подправил вниз запавший уголок и посмотрел в окно пустой и на неё через кружок в кругу.

– А Сашка что твоя? – спросило из пустого места.

– Они сегодня не пойдут.

– Чаво?

– Не знаю, тётя Люба говорит, что не пойдут.

– Ну, раз они-то не идут, то знают што.

– Чего, ба, знают?

– Чаво они-то знают, Петя, нам не скажут, ни-и, они...

И он стоял, вертел трёх зайцев розовых на круге, думал: правда, чего они купаться не идут?

Она губами шевелила в круге, молча усмехалась на него.

– Чего ты, ба?

– Чаво?

– Чего ты смотришь?

– Смотрю-т? Чаво ж ни посмотреть? Своё, не у чужих гулей под юбкой набрала...

И он забросил круг в беседку, чтобы не смотреть через дыру в пустое место и чтоб не лезла про своих гулей.

– Петруш?

– Чего?

– Не ты ли лилию мою у бочки-то обрвал?

– Не я.

– Не ты, а кто ж?

– Русалки.

– Пошутить... Чаво ж не пошутить, когда смяшно. Петруш?.. Вон, Зинка говорит, Добжанской кот пропал... не ты?

– Не я.

– Не ты, а кто ж?

– Собаки, может...

– Собаки тоже стали пропадать... он, Шарик Сашкин-то...

– А я чего?

Она задумчиво кивнула, сложив на лавку жатое бельё, с носком плеснула в флоксы мыльный таз.

– Петруша, слышь?

– Чего?

– Цвятов мне не губи, не ты сажал.

– Я, баб, не трогал.

– Да знает баба, как ня трогал ты. Осподние цвяты.

– Вот прям не ты, прям он ходил сажал...

– Что зубы скалишь, дурь забором лезить? Кряста нет на тебе, чаво не носишь кресть?

– Шнурок натёр, ба, тут.  
– Натёр... Спасителя на ём распяли – не натёр... натёр ему.  
– Кого, ба, спас?  
– Чаво?  
– Спаситель спас.  
– Заела песня, ты смотри... Сех спас от смерти вечной, к вечной жизни, жавые с мёртвых все воскреснуть, все.

– И комары с клопами?  
– Чаво ж? И клоп – осподня тварь.  
– И муравьи?  
– И муравей осподень.  
– Все яблони тебе перегрызут, бабусь...  
– Бабусь?! У етой взял своей? Бабусь тебе... и яблони воскреснуть.  
– Куда, баб, денутся? Не влезут. Скелеты ка-а-ак пойдут такие: «Наш-ш-ш участок... наш-ш-ш...» – И он изобразил на безопасном лавки далеке, чтоб не достала жатым полотенцем треснуть, как в сад её пойдут с кургана все воскресшие живые мертвецы: – У-ы-ы...

Беззубые, слепые, костяные, собаки, люди, кошки, муравьи... Какой кого убил, припомнят – и опять давай друг друга мордотузить, какой живой – от них бежать, а мертвяков со всех сторон, под теми те, какие раньше, каким ещё похуже верхних пролежать пришлось, вонючкины кроты, задушенные мышки...

И воздух затянул в петлю, и высунул язык:

– У-ы-ы...

Заскрёб плетень, затормошил вьюнки. И в лёгких рукавах, до хруста выжав дедушки тельняшку, на лавку к краю отодвинув стирный таз, она сказала, мыльным кулаком стуча по лбу:

– Бисбвий шуть, ишь чёрть язык-то крутить. Безглазому вода в ведро не влезеть, воздух в рот, глухой и гром нябесный не слышал. Не влезуть! Ты туть вмести, а там вместять.

И заморгал, и захромал, затопал, одной ногой поджав, запрыгал на другой и выпучил глаза, и закатил, и зашатался, руками когти показал, отпрыгнул. Из-за угла беседки ей проскрежетал:

– Вмещ-щ-щу-у-у...

Она перекрестилась:

– Велико, божи, милосердие твоё.

Он шёл тропинкой к чёрному двору, невидимый, пока она не видит, лиловые сиреневые шапки по башке – чего не кланяешься мне? Получишь, на тебе! – и в пальцах голова ромашки. На землю осыпались лепестки, как бар-король, его величество, за ним великолепный тянут шлейф, склоняя головы безмозглые свои, её безмозглые осподние цветы – пиончики, бутончики, ромашки... «Велико божи милосердие» её.

– Ко мне! Ко мне! Ко мне! – носился по кургану за забором Сашки Василевских голосок.

– Мне... мне... – в ответ кричало эхо с другого берега реки.

Велико есть, велико нет.

Открыл-закрыл калитку. Сада нет, курганом вверх, вон Сашка.

– Чего, всё Шарика зовёшь? Он бы давно услышал, если бы...

И Сашка закричала снова:

– Шарик! Шарик!

Задев чужим домашним запахом, прошла, хлестнув пятнистые горошины на платье, осока замела туннель, качаясь в такт шагам.

Он посмотрел на светлый нимб волос и солнечную пыль по краю, на запятую уха в солнечном пуху, на тоненькую шею, стебельком клонившую подъём, и траву шевельнул сандалией,

трава качнулась. Лимонница из тенной глубины, поплясывая светом, пошла вверх по лучу и растворилась в нём. Сейчас уменьшится, потом исчезнет Сашка:

– Велико раз...

Она, как бабочка, запрыгала в глазах, сбегая вниз оврага по кургану, и выше поднялась над ней трава, сплелась, сомкнулась. Ближе, ниже стало облако над ней, огромней небо, как будто прямо по земле ползло, вплетаясь васильками в синеву, цепляясь тополиным пухом за цветы.

– Саш! Подожди!

И Сашка снова появилась из сверкучей зелёной россыпи травы.

– Чего?

– Скажу, как невидимкой стать.

– И как?

– Сюда залезь.

Она вскарабкалась наверх и встала рядом.

– Ну и?..

– Тут стой. Он, Шарик твой, так может тоже...

– Что?

– Чтоб невидимкой стать, то просто нужно дальше отойти, не сразу – нет, и всё, а меньше, меньше, чтобы меньше комара, потом вообще.

Она молчала.

– А с невидимки надо же обратно в больше стать, а он, наверно, слишком меньше стал, ну отбежал, обратно-то не то: и гавкнешь – не услышат...

– Чего не то?

– Ну, вроде меньше стал. Совсем.

«Ты тут вмести, а там вместят», – чтоб все вместилось, нужно просто меньше стать, наверно. Уменьшиться совсем, до ничего.

– И как теперь назад?

– Уменьшившись совсем, он, может, там кому другому больше стал. Тут уменьшаешься, а там, куда идёшь, наоборот – всё больше. И Васька тоже там с Добжанского кота, а может, с два. Добжанский кот, когда сидит у лавки, он от калитки как блоха, а подойдешь – как деранёт по грядкам пулей и исчезнет. Знает, гад. Не уменьшаясь, уменьшаешься, растёшь одновременно. Наверно, Шарик там такой огромный пёс, такой... – И он развёл руками пустоту в невидимое шаровое облако, до шара.

– Короче, там, на оборотной стороне. – И повторил: – На оборотной стороне... А знаешь, ты на оборотном как?

– Чего я как?

– На оборотном языке как будешь?

– Как?

– *Ашас!* Он тот же самый, только оборотный, как в зеркале рука другая справа, если так лицом, то справа тут, а если так, то там. Там ты Ашас, а я – Ятеп, а Шар – не Шарик там, а Раш...

Ашас, Ятеп и Раш... Как имена богов, звучали имена на только что открытом оборотном языке.

– Собаки знают, как назад, у них же нюх, они домой всегда найдут, – сказала Сашка.

– Он маленький, а дом не уменьшался же, большой. Что очень больше, тоже не увидишь. Москва такая – во-о... – И он не то что Шарика, Москву руками показал. – Не видно же, а есть. Не видишь-то не значит нет... дошла? Ты, в общем, стой вот тут, а я исчезну – и засечём, откуда нет. Меня не станет, сразу же ори.

И он пошёл курганом вдоль канала, спустился с бугорка – исчез. На следующий поднялся – меньше. Всё меньше, меньше... оглянулся, крикнул:

– Видишь?

– Да!

Ещё пошёл, ещё, и, оглянувшись, не увидел Сашки, заорал:

– Исчез?

И ветерок донёс:

– Исчез!

И эхо пронесло курганом:

– Исчез! исчез...

– Сюда иди! Засёк! Я здесь!

– Я здесь! – кричало эхо, а голос вырвался, по воздуху летел через пределы времени и мест.

И Сашка становилась больше, больше, хоть по линейке проверяй – росла, пока он ждал на точном месте, где исчез. Где бывшей водокачки сток и глинный стоптыш под оборванной тарзанкой, с какого Шарик насовсем исчез и где самим исчезнуть, если что.

«Петру-у-ша!» – долетит с участков, не схватит за руку, обратно не вернёт. С исчезновения нужно Шарика искать, где шрам в коре верёвки от тарзанки, где к лесу по кургану параллельно дачам невидимой тропинкой след невидимый идёт.

– А это шапка-невидимка?

– Невидимка, – согласился папа. – Надвинешь так, не видно ничего. – Осыпав снег на коврик у порога, надвинул шапку на глаза и руки к маме протянул, как в жмурках, и мама не успела рассердиться даже, и рассердилась у него в руках:

– Иван! Да перестань! с ума сошёл? Натопчешь...

Но папа высоко поднял её, и шапка съехала назад сама, и тапочки пошлёпались на пол. Петруша снизу посмотрел сквозь люстру, где в рыжем ламповом пятне сердилась понарошку мама, что только что помыла пол, а папа натоптал. Невидимо из кухни пахло жареной картошкой, невидимо от папы – хрустким снегом, табаком, троллейбусом и остановкой, синим утром, серым днём и возвращением домой.

– Ну ладно, я домой.

– Чего?

– Ну вон уже где тень...

И тень к обеду так всегда на месте, где купались. Ползёт по косогору вниз, сначала справа поворот отъест, потом от пледа край, и солнце сквозь берёзы поглядит ещё разок крестом слепящим и в сером облаке зайдёт за высоту.

Тень пятку съест – замёрзнет пятка; её на солнце подождёшь, а тень на бок, уже не загоршишь, потом на главный камень влезет, значит, что уже примерно два, и тётя Люба потихоньку начинает собираться, отряхивает плед, журналы, книги в сумку.

– Да уйди ты! Кыш! бандит! – А Шарик лезет носом в всё, купальник тёти-Любин или Сашкин схватит, тянет на себя, отпрыгнет, лает, лает, что домой, на языке его понятно человеческому слуху:

– Ура! Скорей! Скорей!

А Сашка говорит:

– Я только разик, ладно, мам?

Специально окунется, чтоб потом хватило сил наверх быстрее всех бежать. И нравится смотреть оттуда, как Петруша с тётей Любой едва за ней плетутся по жару.

И Шарик, как всегда, быстрее всех вообще, главарь команды, летит в траве высокой куцый хвост и уши в колокольчиках свистят, а Саша так ему ушами на глаза загородит и поцелует в нос:

– Хороший пёс, любимый пёс...

И Шарик тоже понимает человеческий, и понимает: «Шарик! Где мой тапок дел?» – несёт обгрызенную тапку в улыбающейся морде:

– Да, виноват, сейчас я получу...

А на верху кургана солнце так зашпарит, как не купался там, пока дойдёшь.

И свет из дня с июня к августу быстрее, и облако долезет небом солнца и загородит. Посмотришь – вроде махонькая тучка, а сверху, от участков, уже такая темнотень ползёт: гроза! И вдруг подует, лес на лес заговорит, сгибая тополя, кося невидимой косой прибрежную траву, невидимый хозяин, сеятель и жнец идёт курганом, снимая с синих иван-чая свечек цвет, и крапинами первыми дождя на книжку – кап! Река как оживёт – кап-кап... кап-кап-кап-кап! – кругами, тысячу кругов, и тёплый дождь приподнимает пар с растопленной воды, встаёт стеной, и на подъёме так из вёдер накрывает, что скажет баба у крыльца:

– Куда? Исподня страсть, сымай мне ноги здесь! Бяз нох иди...

А к осени вообще курганом холодно всегда. На Долгопрудном только берегу везёт, у них до вечера всё солнце, даже в шесть, а в вечер жарят шашлыки, и вкусно пахнет так, хоть воздух ешь – сидишь, сидишь, глотаешь.

– Баранку хочешь?

– Не... а не, давай.

Грызёшь и ждёшь, молясь на поплавок, что под воду его затянет рыба глупость, и молишься на рыб: ну, клюнь? ну, клюнь, а? клюнь? – и носом сам клюёшь на поплавок, а рядом Сашкин прибывает. У ней, как с папиного спиннинга, красивый, из «Спортоваров», с ручкой в флуоресцентных полосах, а у него из пробки от шампанского на спичке.

Сцветает лес, далёкий косогор, над ним колодец неба звёздами засыпан; огромный пёс сторожевой, отпущенный с цепи, бредёт невидимой тропой; невидимых существ перелетают тени, скрипят и шепчут, только подойди – и в темь провалишься такую, что сам себя не вспомнишь как зовут. Сквозь Долгопрудный пережат на черноте немножко огоньки, как будто потеряли домики друг друга, и расплзаются в глазах круги воды, она качает лунную дорожку, по ней ночная водомерка мерит свет и темноту, скользит, скользит... и Шарик прорывается сквозь сон весёлым лаем.

– Клюёт! – И подсекаешь с свистом воду на обгрызенный червяк.

И вместе с Шариком охранным, служебным псом, с каким из темноты никто не бросится напасть, идёшь вверх, размахивая палкой темноту, цепляя удочкой траву, дрожа от ужаса ночного, курганом вверх, и кажется, дойдёшь до самых звёзд – так высоко и долго по тропинке. Но не дорос ещё курган до неба, и от поляны снова вниз к участкам, в темноту.

– Идёшь?

– Да не, я тут ещё.

– Ты... на. Ну... если Шарика найдёшь... – И протянула петелькой затёртой поводок.

– Ты только ей не говори, что видела меня.

– Не-е, ты же невидимка.

И, как в любимой книге папы Герберта Уэллса Гриффин, зрячий в городе слепых, полувернулся, полуувидим, уколешь голой пяткой в острую траву или пропорешь о стекло – и только так оставишь след.

## 11

Но как небо выше земли,  
так пути Мои выше путей ваших,

и мысль Моя выше мыслей ваших.

*Ис. 55:9*

От садика вишнёвого, направо их калитки, тропинка вышивала узенький протоп между кустарников колючих, бурелома, отжившего домашний век добра и яблоневых ям к Добжанских стороне. Здесь было тихо, тенно, жутко, как будто, отойдя подсолнечной земли, шагнул в невидимый портал, и только маленькие птички-стражки в зарослях бесплодных прижились, навили шапок, прятались от всех, а может, ждали выклевать глаза.

– Те-ди! – тревожно с ветки сорвалось и скрылось в высоте.

Он обмотал ошейник на рукав, петлёй к себе: ударить плёткой, если... Надел сандалии. Огляделся: тихо, никого. Потрескивает в ветках золотая пыль.

Гнилой забор под натиском курганных траволесий валился в огороды и сады, как будто правда мертвецы к живым шагали в гости напролом. С той стороны участков их напор держали поленницы, кривенькие баньки, колючей проволоки стяжка вилась над сгнившим зубами городца. Большие белые цветы жасмина опадали, засыпанные звёздочками незабудок кочки, мелкие гвоздички, васильки, ромашки и ленки мешали робкий цвет с сухой землёй.

Здесь было кладбище вещей. В затишье солнечном тихонько ветер шевелил вершины лип, и облачка, как ватки, скользили небом и сквозили по траве. Полуденное солнце слабо пригревало тысячи соцветий безымянных, сплетенье веток мало пропускало ливневой воды. Шкаф духовой скрипел распахнутой заслонкой, буржуйка, печь на чёрных согнутых ногах, набила брюхо грязью; кривоногие столы и стулья, табуретки вращались в землю или из неё росли. Прозрачные перебежали блики по стволам, и на растопленных полянках бабочки цвели.

Старинная кровать с заржавленной решёткой под матрас и сам матрас с пружинами в соломе, кастрюли, крышки, банки, чугуны, тазы без дна для украшения затерянного мира, обломки прошлого в нехоженой траве, игрушки, детские коляски, керосинки, похожие на ржавых марсианских пауков.

На куст надет резиновый сапог и множество ботинок и галош, каких-то тряпок, так у Чуковского картинка в книжке, чудо-дерево растёт, но только мёртвое, скелет, ботинок не наденешь, всё по одному – как будто кто-то с детством пошутил, и сказка от счастливого конца имела продолжение на оборотной жизни стороне. На оборотном языке теней в полуденной жаре.

Изъеденные мхом ковры и тощие, без времени усохшие рябинки. Калины, клёны, тополя, всё как из сена. Поломанные высохшие косточки земли, пеньки, поганки, не сгнили, а истлели валуи...

– Ти-ди! – Он, вздрогнув, обернулся.

Чудовище, готовое за дерзость нарушения границ схватить, проткнуть глаза, не выпустить на свет свидетеля угрюмого совета войска, живыми преданных вещей. Здесь мягкая земля снимает шаг, тень пахнет плесенью и мхом, а сено – солодом дурманным, безмолвие запретного владения перед прыжком на чужака, планета беспричинной злобы вековой, желая охранить свои пространства, тайны, от детских глаз, от человеческой глупости смешной, в сравнении с вечной тишиной. Чудовище всего – движения воды, и рыб в воде, и солнца, жужжания, писка, темноты, свеченья звёзд и городских огней, что вечерами заревом вставало над садами, невидимого ветерка, клонившего траву, летевшего за ним позвать обедать, и ветра, что ломал в грозу стволы.

Гонимый чёртиками страха, влекомый чёртиками «знать», идёшь вперёд, крадёшься, каждую секунду заорать готовый «мама!» и услышать, как равнодушно тишина глотает крик, и под ногой по хрусту ветки сердце вспомнит, *что* это – умирать. *Как* это – умереть.

Лягушка прыгнула из-под ноги, заставив прыгнуть в животе клубок щекотной жути; перелетев из тени в тень комочком земляным, рассыпалась в траве на шорох, выпорхнула птичкой: «Те-ди!» – зовя на помощь кого-нибудь сильнее и добрей того, что видела внизу,

берёзы шепотком качая ветки, затаилась, замолилась, чтобы чудовище, бредущее курганом, мимо пронесло.

Чудовище... На муравьёв, стрекоз, жуков и бабочек охотник, на спрятанное в глубине нехоженой травы гнездо, на рыб в воде и ящерок, мелькавших по расщелинам камней, кузнечиков, шмелей и пчёл, пригревшихся на солнцепёке берегом канала сонных уток, неповоротливых от ужаса, шаги чудовища услышав, забывших разом, как летать.

– Те-ди... те-ди, те-ди!

Чудовище на оборотном как? И пальцы загибают слово по слогам: «е», «щи»... Чудовище перевелось в «ещиводуч». Ещиводуч!

– Ещиводуч те-ди! – кричала птичка. – Те-ди! те-ди! те-ди! Ещиводуч.

А «я» на оборотном «я», подумал. Я – ещиводуч.

Он зашагал низинкой в глубину портала, всё меньше от границ его, всё больше от его границ. Здесь уменьшаться, увеличиваясь, можно влево, вправо, не меняясь, и исчезать в какой захочешь стороне.

– Те-ди! Те-ди! – всё громче, всё тревожней птичка. – Ещиводуч те-ди! – чудовище идёт.

Спустился по тропинке до Добжановой калитки, поворошив золу от их костра, достал кусок расплавленного толя, поднял, ломая в пальцах комелёк, тропинкой поднимаясь выше к роще над каналом, между кленовых удочек, рябинок и ельчат, не зная, чем занять себя, и думая найти хоть сыроежку, брёл, поглядывая вниз.

В тени от старой липы заметил бугорок земли, присыпанный щепной трухой и листьями, иголкой. К нему и от него бежали сотни муравьиных ручейков. Мурашки торопились до заката успеть свои дела – и были так увлечены, что совершенно не заметили его и длинной тени, вдруг накрывшей город их.

– Те-ди! те-ди! те-ди! – кричала в небе птичка. – Чудовище! Чудовище идёт!

– Привет...

Они не слышали его, бежали да бежали. Не видели... *не видели его*. Он был невидим, но не так, что видим и невидим, а совсем. Он больше солнца был, раз загоразживал им солнце, и там внизу, и те внизу его увидеть не могли. Так, лапками струча, букашка, проползая по ладони, в ней не подозревает кулака.

– Привет, – погромче повторил, запрудой подставляя ногу одному из ручейков. Сперва в недоумении муравьи вставали на дыбы перед препятствием сандалии, но, быстро потеряв к ней интерес, восьмёркой по цепочке огибали след. Он с любопытством наблюдал за ними и, наблюдая, ощутил себя *над них*.

Они, их крепость из суглинка, щепок и хвоинок, их дети в ней, запасы, их крылатые цари, их комнатки и норки, подземные туннели, коридоры, переходы, весь их мир в смертельной близости подошвы стоптанной сандалии, на кнопках, ремешках, чуть-чуть запачканных золой. Он каждую секунду, приподняв и опустив ступню, мог придавить с десятков разом их и, выхватив любого, сплющив между пальцев, удавить... Ещиводуч...

– Те-ди! Те-ди! Те-ди! – металась птичка.

Он посмотрел наверх: невидимая птичка, птички нет.

– Те-ди... те-ди! – Соединяя воздух в звук, пунктиром – есть и нет – перелетала где-то близко-близко, качала ветки вверх и вниз, разбрызгивая листья, те замирали, выше, ниже, в тёмно-зелёной зубчатой резьбе, слагаемой из бесконечных множеств вспышек световых.

«Эй! улыбнись, смотри сюда, отсюда птичка вылетит сейчас», – пообещал фотограф. Петруша крепче ухватил за руку маму, папу, не улыбаясь, пристально и недоверчиво смотрел в глазок треноги, в глазок, похожий на паучий глаз, живой, внимательный, переливавшийся, как драгоценный камень. Свет полыхнул и ослепил, и вылетела птичка, какой Петруша не заметил в вспышке, и так на фотографии застыл меж улыбающихся родителей своих нелепый лопухий мальчик лет шести с заглаженной расчёской папы чёлкой, в манишке белой, с чёрной бабочкой,

душившей шею, лобастый, с бледными щеками, с испуганными серыми глазами и ожидаемым чудом в них.

– Те-ди! те-ди! те-ди! – как будто бы ему кричит: «Уйди! Уйди! Те-ди!» Прислушался и перевёл на оборотный: «Идёт! Идёт! Чудовище! Спасайтесь!»

Он улыбнулся и спросил:

– Эй, слышите меня? Не слышите. Ну ладно.

Сему обетованному холму земель моих даю название Моров – и в моровчане нарекаю жителей его и подданных моих.

Он наклонился, поймал в щепотку муравья. «Как посолить», – мелькнуло в голове. Поднёс щепотку к глазам, от странной смеси отвращения с любопытством замирая, разглядывал застрявшую меж ободков ногтей сгибающуюся-разгибающуюся лапку.

Убить. Убить – как посолить.

– Привет.

Под выжженным полуднем небом – земли безродной пятачок, с колючим хворостом травы покрытый серой пылью бугорок, приподнятый живой согласной силой над подземельным царством темноты. Где этот разум, давший цель для сотен тысяч слаженных движений, рабочей армии лесной, и почему так равнодушно огибают во всем согласные строители-бойцы своих убитых, раненых солдат? Ни сострадания, ни жалости, ни страха, ни даже любопытства нет. Как будто цель их жизни – жив, а общий разум их питается смертями.

Туннели, входы, выходы, ходы. Зимовки, камеры, кладовки, могильники и детские сады.

Опять зашевелилась в пальцах лапка. Боишься... страшно умереть? А если этот разум ты и есть? Его малюсенький осколок. Или его конечная единственная цель.

Цикорий, василёк, ромашка, разломы глины, спаянной дождем, разбитой солнцем, зависшая в кисельном мареве оса и шмель, качающий цветок; здесь каждый шорох, ветки хруст, падение листа – горячая волна в висок, между лопаток быстрый холодок, какой-то ниточки натянутой обрыв – сейчас *оно* попробовало жизнь твою на вкус: сойдёт ли в пищу? И кончик языка, лизнувший земляничные усы, твоё последнее движение будет в ней. Лужок, опавшей земляники пустоцвет и в дырках черепа собачьего просвет, в просвете небо.

Противный страх, что кто-то может тоже вот так схватить, вот так, когда-нибудь... схватить и сжать. «И всё?» – лизнул за ухом тёплым ветерком, мурашками прошёлся по спине. Когда-нибудь? Или сейчас? Совсем сейчас.

Вокруг так тихо, никого. Так тихо, ощутимо присутствие Его, как тик невидимых часов за стенкой. Тик-так, день-ночь, весна-зима, неудержимый просто ход. Невидимо огромный, собранный из множеств тех, кто до невидимости мал, невидим-видим, из всего и всех, как глаз лягушки, в тусклый круг вместивший мир. Намного больше и намного меньше, чем вообразить чудовищем и богом, из маленьких частей соединить в одну, представить горизонт отрезком круга, изгиб смертельной глубины, прижатый тяжестью воды и неба, а в небе звёзд бесчисленные точки, не волшебством, а расстоянием превратившиеся в них. За ними те, что в темноте исчезли без следа, уменьшившись до ничего и не исчезнув, и дальше, дальше – бесконечно, к концу, которому начало – круг.

Вселенная жука, его разумность, желанье быть, желанье жить похожи на твои, и страх, и боль, и смерть, её предчувствие, сопротивление ей похожи: вообразить себя жуком, или планетой, или темнотой? – в которой тысячи жуков, или жуком, в котором тысячи планет, и всё это сложить в одно – как кубик-рубик целиком соединить.

Красивая игрушка так легко вертелась в пальцах, крутилась так и сяк, то белой стороной собравшись, то зелёной, но, чтобы каждую в отдельный цвет собрать, выхватывала кубик из другой, по два квадрата, по три, другим входила цветом и разрушала собранную грань. Одним движением Петруша кубик новенький сместил, хотел вернуть назад – и так перевертел, разбил, запутал, безнадежно.

– Что, не выходит? дай-ка я, – и папа повертел зловредную игрушку в пальцах. Раз! – и кубик повернулся раз, ещё, ещё, одна собралась грань и снова раскололась, на место следующим поворотом встала, ещё одна, ещё одна, все шесть! – Ну вот, делов-то...

– Чашку так нельзя... – сказал задумчиво Петруша.

– И чашку так нельзя, и жизнь, – она сказала, в комнату войдя, – отцову вон в обед разбил.

– Ну что ж ты, друг?

– Я, пап, не разбивал! Она сама на краешке стояла...

– Все мы на краюшке стоим, локтём смахни.

– Ну что ты из-за чашки? Чашек мало?

– Да чашек, Ваня, много, жизнь одна.

Она ушла.

– Те-ди, те-ди!

– Да тихо ты! – И птичка замолчала. В лесу, между деревьев, в поле, за рекой, за ним, под ним, над ним повисла странная, густая тишина.

Трава живая тянула жала-язычки из-под земли, шептались листья, шмель гудел, застыла между веток паутина, смертельная ловушка парашютиков-семян, летучей мелюзги. Пустые коконы от мух, их сок, преобразованный в прозрачную и липкую слюну, невидимую сеть. В густой полуденной жаре на стебельке, обёрнутом прозрачной паутинкой, без дуновенья ветерка качнулся, от веса времени осыпался беззвучно пустой мешочек мотылька, осталась только голова, и слюдяные крылышки слетели на траву. Сок ядовитый трубочек стеблей, подёрнутая изумрудной ряской жуть лесных болот, кувшинок жгутики-верёвки, ночная темнота, спящий свет, ловушки, петли, жала, коготки. Среди берёзовых, кленовых перелесков – дурман, чертополох, вороний глаз в соцветиях креста, собачий дягиль – вех – под спицами зонтов, и лютый лютик, в чёрных каплях яда – букетики лесные белладонн. Желтинки зверобоя и пушинки, чертинки, шевелинки, ветки, стебли и стволы тянулись к небу, силой жить росли, ползли и лезли из земли навстречу умирать. Ступенями, по насыпи кургана, костями, листьями – здесь всё стремилось из и возвращалось вниз, из года в год могилой братской поднимая высоту.

Ещиводуч. Не добрый Дед Мороз. Чудовище, кузнечик-великан... или паук? Разумный разумом космической амебы – быть, и быть из тысячи смертей и жизней, быть повсюду. Бессмертие его из множества смертей и жизнь – еда, такая же, как жареная рыба и котлета. Невидимый убийца, невидимка, он ни от кого не прятался в траве, выглядывал из лопухов, не опасаясь быть замечен, и убивая, смерти не желал, а просто продлевал своё бессмертье. Кушал.

Сдержав желание бежать, он снова посмотрел на глупенькую лапку. Когда-нибудь?.. Вот так вот, вдруг? Или сейчас? Совсем сейчас, теперь.

– Ну, хватит ты, – и пальцы сжались.

Он, щёлкнув, сбросил трупик в муравьиный ручеёк. «Как посолить», – опять мелькнуло в голове, и, палец облизнув, макнул в сухую землю – она так в суп, попробовать на вкус, – противная земля, недосолил. Поймал и щёлкнул снова. Снова... Снова.

– Цык-тык, цык-тык, цык-тык, – над Моровом отщёлкивала маленькие жизни смерть, – цык-тык, – не различая и не выбирая их.

Нагнулся, ухватил, сжал пальцы, щёлкнул, сбросил под усики и лапки остальных. Мурашки продолжали деловитый бег, переползая трупики собратьев, ни их не замечая, ни его. Не замечая смерть, лежащую в земле полоской тени, пересекавшей свет и шевелящейся в траве.

– Тупые муравьи, – шептали губы, – а я тебя предупреждал... Цык-тык. Цык-тык. Цык-тык.

– Те-ди! те-ди! – ещё раз закричала птичка, и, краем глаза уловив её движение, он быстро посмотрел вверх. В зелёном витраже подвижного стекла огромная метнулась тень, несуществующим крылом срезая траву, невидимый, задёрнув завесь, ветер листья шевелил, они шептались.

Свидетели убийств, не знающие человеческого слова, шумели на своём обратном языке; сквозь веток шелестящие ладошки чудовища слепящий глаз следил за ним.

## 12

Они втроем летели в Геленджик, на море. Был справа от Петруши мамин бок, надёжный бок, с каким не пропадёшь, газеты край, что папа сразу развернул, надёжный шорох, иллюминатор, белое крыло и горы снеговые, и, кроме них, под ними – ничего. Все смотришь, смотришь, перегнувшись через маму: стекают ватные холмы, клубят, клубят... Вдруг расступились, тень крыла прошла внизу расчерченным на клетки лабиринтом. Шнурочки рек и зеркальца озер с разбросанными по зелёному ковру домами гномов, кубиками дач, как будто в них играл ребёнок и, не прибрав, ушёл гулять.

И он спросил:

– А люди где?

Все люди были там, внизу.

Здесь очень глубоко навверх, и скорость Ту опережает время; взлетели в шесть, летели два, а прилетели в шесть. Какая сила держит – не понять, а там, на даче, баба ползает по грядкам, крестится на небо – осподи помилуй долететь, – все грядки меньше клеточек в кроссворд, а баба меньше муравья, вот, значит, кто они для... птицы.

А под крылом горели золотые в синем дыме океаны и моря, и он смотрел из силы всей в стеклянный глаз окна, готовый первым разглядеть людей, хоть одного, и закричать: «Вон люди!» – и вдруг окошко загорелось ярко-белым, нестерпимым светом злым.

– Маш, солнце пролетаем, посмотри!

Но мама забоялась, отвернулась, папу за руку взяла, и руки их соединились на Петрушиных коленках над землёй.

Густая предобеденная тишина настала, плыла и плавилась, смолой стекала по стволам, как воск с церковных свеч, тонули в небе звуки, как в воде, сливаясь в общий звук, вибрацию, похожую на жар, стоящий в полдень городским асфальтом. Внизу восьмёрками сандалий бежали и бежали муравьи. Он видел их, как из последнего окна высотной башни на «Проспекте Мира», куда зашли однажды с папой к другу в мастерскую на часок.

До друга в лифте подниматься оказалось очень долго, до кнопки не дотянешься нажать. Как будто старый шкаф с старинной дверью раскладной, не лифт – ракета времени с Земли. По высадке ещё один пролёт, ещё один этаж, последний в башне, с маленьким окошком – не заглянешь. Пыль, грязь, велосипед, коробки и бутылки, кошачий дух, ступенькой банка, полная окурков... дальше – небо.

Петруша сразу потянул обратно папу за рукав, спастись на земле, но папа поднимался вверх и говорил:

– Идём-идём, не дрейфь.

Звонок молчал, как будто звук глотала высота, как будто дверь откроется – и солнце. Петруша снова папу дёрнул за рукав, но папа постучал, и стало поздно убежать.

Дверь распахнулась. На пороге, одетый в чёрное, босой, со смоляной косматой бородой, стоял гигант, вокруг головы его светился нимб от лампы. Он был волшебник или бог. Во-первых, жил на небе, босяком, а во-вторых, ему так папа и сказал:

– Привет, творец.

Гигант ответил:

– Ёлки! Ванька! Черти полосатые мои...

Так папа оказался другом самого Творца.

– А это кто у нас? – спросил Творец.

Петруша спрятался за папу.

На небе оказалось сумрачно и тесно. Сжимая с двух сторон нагромождением рам, тянулся узкий коридор до растворённой темнотой двери. Два входа по бокам – налево от прихожей кухня. На табуретке в клетке Беломыш газетам шуршал, и кошка Машка, зеленоглазая, худая и рябая, как приведение, скользила в темноте, касаясь гладким шёлком ног. Друг говорил о ней: скучает без котят. А где её котята? Друг объяснил: *распределил*. И слово было неприятно, как будто шас ты с мамой с папой, а потом вот так же вот – *распределят*.

Петруша думал, Беломыша в клетку посадили, чтоб не съела кошка, кошки их едят, но папин друг сказал – наоборот, чтоб Беломыш не съел её. У Беломыша были красные глаза, и он все время правда что-то ел, таская за собой противный голый хвост, газеты грыз, баранки, а тощая и ласковая Машка ходила по квартире и звала своих котят, искала их везде и спрашивала:

– Мя? Мя-а-у?..

Друг папин говорил, что всех не прокормить – ещё родишь. И было непонятно, зачем ещё, раз даже тех... *распре-де-лил*. Наверно, был не бог и не волшебник, просто даром место в башне занимал.

Небог и папа, помидор порезав, выпивали, говорили, закусывая ливером на хлеб. Курили «Беломор», сбивая пепел в странный жёлтый мячик костяной, который оказался настоящий череп, а был когда-то настоящий человек. И бывший настоящий человек, раскрыв на проволке стальной державшуюся челюсть, покачивая ей, как будто был живой, смотрел двумя пробоинами глаз на грязную клеёнку и людей, как из пещеры смотрит неизвестность густой и гулкой темнотой, дымил сквозь треугольный нос. Петруша череп обошёл – проверить, есть ли выход, но бывший человек с той стороны стола был гол и слеп и стянут на железный ржавый шов.

Сквозь пыль поблёскивая лаковой глазурью, большая глиняная жаба сидела в тусклом солнечном пятне, бубнило радио, по всем стенам висели непонятные тарелки, похожие, как будто папин друг в них краску размешал, как на своем халате, потом забыл отмыть. Петруша с ливер-бутербродом бродил по дому, который назывался мастерской, и Машка путалась в ногах, скользя бочком, мяуча, растворяясь и снова проявляясь из нигде.

Повернуты к стенам, стояли рамы, с обратной стороны как будто заглянуть в окно – картины. Он отодвинул несколько, подглядывая в них. В одном лежала голая совсем, смотрела на Петрушу, усмехалась жутким, криво вывернутым ртом, и стало стыдно, отвернул её. В другом окне текла река, ещё в одном зима в сугробах синих, на кованном морозом небе проступали звёзды. Петруша прислонил ладонь к нему, и холодом прошло от сырости холста, прохлады сумерек прихожей; он отодвинул следующую раму, там сидела та же, что на кухне, жаба, на клёнчатом столе, дымился, не дымя, окурок в черепа-мяче. Наверно, папин друг Небог был всё-таки творец, раз то, что рисовал в окне, на самом деле было. И глиняную жабу мог, наверно, оживить. Возьмёт сейчас и прыгнет с полки, пропрыгает тяжёлой жутью мимо ног... Не удивляйся ничему, всё, что представил, – есть.

В просторной комнате углом на два окна с чердачным срезом крыши вкусно пахло краской, керосином, в ней тоже оказалось много окон-рам, отвёрнутых к стенам, большие, маленькие окна, на подоконнике широком – головка девушки чудной и лопухой, теперь из памяти напоминавшей чем-то Сашку.

– Что, нравится тебе? – спросил Творец.

Но белая, ушастая, на длинной шее голова совсем не нравилась ему, и он сказал, что нет.

– Ну, это зря... а чем не угодила?

– Ушастая.

– Ушастая... эх, ты. Принцесса Нефертити, дочка солнца, вообще-то самая красивая из женщин...

– А наша мама красивей, – решил Петруша, и папа сразу согласился с ним.

Петруша подошёл окну, где дочка солнца голова, но роста не хватало заглянуть. Подвинул стул, залез и глянул вниз: какая высота! До головокруженья, разом, уменьшила людей, идущих тротуаром в запятых, но, чтоб коснуться их при этой высоте, хватало одного движенья пальца по стеклу. Прижал – и нет. Прижал, вдавил и покрутил. Стекло под пальцем скрипит – оп! – и исчез. А шустрый закорючка, исчезновенья не заметив своего, вдруг выскользнет из-под нажима пальца, дальше побежит...

Сквозь пыль и гарь табачную окна слепило солнце, смотреть мешало вниз на эту запятобшью беготню; он руку прислонил к слепящему пятну – пятно погасло.

– А это что?

– «Последний день Помпеи», копия Брюллова. Смотри, вот там вулкан Везувий, изверженья, под ним был город, люди жили, видишь?

– Они погибли? Все?

– Вот этого не знаю. Что, эта нравится тебе?

– Наверно, все, – сказал Петруша, заворожённо глядя на бегущих из картины в ужасе людей, ещё живых, которые сейчас погибнут все, сейчас погибнут и тогда погибли, как будто погибают каждый раз за тем, как посмотрел на них, уже невидимо, но ясно. Разинутые в крике рты, назад обёрнутые лица, огонь и дым. Гора горит.

– А это далеко гора?

– В Италии гора, за морем, до нас бы точно не достало, брат, – ответил папа и прижал его к себе.

– Так эта нравится тебе? – опять спросил Творец. – Я в детстве, знаешь, трусовал её...

И чтоб не выдать, что боится тоже, на всякий случай крепче прижимаясь к папе, он ответил:

– Эта – да.

И папин друг картину подарил.

Тень стаяла в траве и снова появилась. Спускалось солнце от полуденной вершины в дальний лес, и муравьиный бог стоял над ним.

Он посмотрел на землю. Внизу бежали муравьи. Всё тот же холмик-бугорок, всё те же липипуты. Помпея – Моров, муравейника Везувий, и моровчане, жители горы.

– Сейчас, – пообещал кому-то.

Промчался вдоль забора до своих, вошёл в сарай, канистру наклонил, сцедил в жестянку керосин, газет и спичек захватил в уборной, калитку тихо приоткрыл, скользнул в неё – и снова стал невидим.

## 13

– Привет. Вы как тут у меня?

Они тут у тебя туда-сюда, перебегая скорченные трупки собратьев, похожие на чёрный бабин мак, рассыпанный в ногах.

Он наклонился, жестянку с керосином осторожно поставил у подножия горы: не расплескать. В последний раз предупредил:

– Эй, вы. Я здесь.

Они не слышали его, не замечали.

– Ну ладно, щас узнаете, чего...

Обрывки «Правды» полетели вниз. Комки, клочки про достижения и трудовые подвиги страны. В уборной у неё всегда из «Правды» подтирашки, порежет, сложит в стопку и велит: «Туда неси».

Он палочкой распотрошил в вершине ямку – кратер, в воронку керосин плеснул, но тот впитался в землю, зато газеты жирно пропитались им.

Муравье царство продолжало копошиться, чернорабочие букашки сосредоточенно к горе тащили свои соломинки-былинки и были так увлечены, что продолжали свой упорный бег, когда их дело так отчётливо запахло керосином; вкусный запах, так пахли тряпочки и мутная вода в стакане, в какую папин друг из башни испачканные кисти опускал, чтоб не засохли и не затвердели с краски, чтоб можно дальше ими... рисовать.

Бог чиркнул спичкой. В тот же миг навстречу муравьиным ручейкам с горы помчались огненные реки. Змеились язычки, текли, переливаясь, вниз. Тяжеловесный земляной шатёр, охваченный огнём, вздохнул, зашевелился. Свистя, как пуля чья-то, вырвалась из ада муравьиного душа, ещё одна, ещё один. Мурашки корчились, сворачиваясь в запятые, застывали, и языки глотали, то выплевывали их. Сквозь дым он видел страшный город, опалённый зноём. «До нас не доберётся...» Добралось.

По-прежнему шептались листья, шевелились ветки, былинки-тополинки, васильки. Невидимый густой медовый дух. В берёзовом леске потрескивало солнце, и золотая пыль волшебным порошком садилась на цветы. Кузнечики в осоке стрекотали, невидимы; невидимый и неумолчный летний звон, в котором ветерок перебирал ромашки. Невидимая тяжесть наклоняла ветки, невидимой рукой срывая догорающий листок, и тот не падал вниз мгновенно – как бабочку, его невидимое что-то в воздухе держало, в замедленном кружении неумолимое влекло к земле.

Гора погасла. Горячий ветер сеял в траву чёрный снег, щипучий дым, муравьи души улетали в небо с ним.

Он палкой пепелище ворошил, не находя ни одного живого.

Там не было живых.

Жизнь приняла и растворила смерть в привычных звуках, и чем-то жутким веяло от кучки пепла, хранящей в солнечном пятне тепло.

Над Моровом, в сети теней скользящих, стоял убийца.

Муравьиный бог.

Сияло солнце, пели птицы, дятел выбивал из-под коры козявок, убивал. Тук! – и убил, тук – и убил. Тук-тук. Тра-та-та-та! – без остановки, слитно. Выпрыгивали рыбы из воды, в осколки разбивая отраженье, глотали мух, и чайки исчезали в глубине его, стирая грань воды и неба, посверкивая в клювах рыбьими хвостами, возвращались в высоту. Кто больше, тот и тот. Кто больше, тот и жив. Кто больше, тот и съел. Кто съел, тот жив; не жив, какого съели. Тра-та-та-та! Кто больше, тот и бог.

– Те-ди! те-ди! – о чём-то о другом, своём, забыв молчать, опять пропела птичка.

Смывая разделительную полосу зелёными волнами, захлёстывая перекатом перекаат, вливалось поле в небо, гудели провода, их нотной грамотой сидели галки. Среди цветущих шапок флокс бродил убийца-кот, Добжанский душегуб, и птичка-невидимка прерывала песенку свою, чтоб мошку проглотить, и выводила дальше:

– Те-ди! те-ди! – А замолчала – проглотила.

Июльской вольницы оркестр играл виват создавшему его на воинство великое голбс, зоббв, смычков и струн. Единой нотной грамоты тетрадь – за счастье быть. Всё пело радость, всё бесхитростно благодарило жить.

Полуденная тишина большого мира по окончании маленькой войны, и в глубине травы облепленная муравьями гусеница корчилась в пыли. Болтая лапками, как будто думал оттолкнуться неба, качался в панцире огромный жук, хороший жук, отличный жук, рогатый жук, кра-савец жук. Петруша палочкой перевернул его, жук благодарно... жук *неблагодарно*, не видя, кто перевернул его, взлетел, жужжа так тяжело и гулко, как будто небо в крыльях поднимал.

С дыханьем раскалённый воздух полдня вливался в рот. Внутри чирикало, пищало, прыгало, ползло, переползало, текло, стучало и скреблось, мурашками подкожными бежало, тикало в висках. Запутавшийся в камышинках ветер, завязший в воздухе парном, букашки в

джунглях травяных, кровь соков стёблей в трубочках-сосудах, густые капли земляник на тёмных листьях и тоненькие капилляры паутин – всё становилось им, всё было в нём, и в нём всё ело всё, из маленького делалось большим и снова ело.

– Ап-ап. Ап-ап, – Глотал, ловя баранкой губ, до низа майки ребрами сжимая, сдуваясь, надуваясь, сок воздушный, планктон из мириад невидимых существ, хмель одуванчиков и таволг, невидимый состав живой воды. И пил, не напиваясь, пил-дышал кого-то. Не мог не пить, вдыхал – и мёртвым выдыхал.

Густой и жаркий воздух плавил, забивался в уши, ноздри, стучал в висках и пёк, слепил глаза. От терпкой смеси запахов и звуков кружилась голова; вдруг показалось: раз ещё глотнёшь, вдохнёшь – и лопнешь, как надутый шар. Он задержал дыхание, сжав прищепкой пальцев нос, зажав ладонью рот. От «тик» до «так» всё дольше расстояние. Раз – никого не съел, не проглотил, два – никого, ещё, но каждая секунда без убийства замедляет привычный внутренний поток, как у часов кончается завод, и с продвижением стрелки нестерпимей голод. Как это просто – умереть. Всего немножко потерпеть, пока без воздуха, втекающего жизнями невидимыми в рот, не останутся внутри.

Застрекотало, зашумело громче, запрыгали круги, в глазах поплыли огненные змейки, в восьмёрки собираясь, разрываясь на нули. Янтарной пылью закружились, как будто приподнять с земли хотели, унести могли, но не смогли, и пели тоненько и странно, знакомо, высоко и низко, втягивая звук. Три – не убил. Четыре – не убил... Он погружался в мутную воронку, где солнце слишком далеко, а ноги путает вода, и пятки тяжелеют, едва доходят мыслями слова; и где-то в глубине сознания искоркой начальной, что вспыхивает раньше, чем рождён, и гаснет позже всякого пожара, велело, задыхаясь:

– Дай!

И он, отдёргнув руку, захлебнулся вздохом. Закашлялся, забпал, задышал.

Тень, что весь день крутилась под ногами стрелкой солнечных часов, то дорастая в великана, то уменьшаясь в горбуна, исчезла. Он протёр глаза; кулак был перепачкан серым мелом, маслом керосинным, мазнуло сажей по щеке, но ужас умереть прошёл, и он, зевнув, травинку потянул, смахнул с лица пылинку, без любопытства посмотрел на мёртвый город под собой. Меж опалённых колышков травы бежал счастливчик – уцелевший муравей. Ползёт себе, с гуся вода, живой себе такой. Живучий. Перебежчик. Диверсант. Десантник. Как в «Зори тихие» – шпион.

– Куда?!

И быстрое движение сандалиии, всплыв, чиркнуло серую бороздку по золе, продлило, ведя окоп вокруг горы, соединив в кольцо.

– Вот тут ползи.

Но диверсант полез из круга, карабкался и выполз наконец: куда хочу, туда ползу.

– Сейчас тебе.

И пепла зачерпнув, песочной стружкой дырочки ладони засыпал муравья, спросил:

– Ну, всё?

Но моровчанин выполз из могилы братской. Совсем дурак. Не хочешь умирать, хотя бы спрячься, мёртвым притворись, не вылезай, пока живой. Сам виноват.

– Иди сюда.

Петруша наклонился, зажав в щепотку бегуна, поднёс к глазам, получше рассмотреть, подумать, как с ним быть, как в сказке, запятую ставить: казнить, помиловать тебя? И вдруг укол почувствовал на пальце, бессильной мести муравьиной яд.

– Ты, гадина... – И пальцы сжались; мёртвый муравей упал в золу.

Притихшей улочкой той стороны участков, клубя дорожной пылью, грузовик прогрохотал; звеня в большой сковороде зыбучей пирамидкой вымытых тарелок, Добжанская старуха прошла от рукомойника к пристройке; гавкнул пёс.

В обыденности этой было что-то, зеркально искажавшее её, дремотное, похожее на безмятежный сон, перетекающий в кошмар, реальность превращающее в ужас. Так, наступая в мягкую траву, сапог уходит с чавкающим «ом» в податливую жижу, деревья шепчут: пропадёшь, ты слишком далеко забрёл в свой сон, ты – наш, ты не вернёшься, не проснёшься никогда. И в глаза уголок втекает тень, встающая с земли, и темнота высвечивает лунным глазом щупальца корней подземных осьминогов, выползших на ужин.

У нас спокойно, тихо и темно, не больно никому, мы не боимся смерти. Знаешь почему? Мы умерли, а мёртвые бессмертны. Движение пальцев – «Цык!» – и вечность. Там время нет, и, сам не ведая того, шагнёшь за грань, и на «ау!» сам бог тебе ответит холодной сыростью без дна. Мы пережили смерть – и ты переживёшь.

Там время не тик-так, полуслепой старухи календарь за прошлый год настенный, газета «Труд», «Советский спорт»... Храни осподь, заступник Николай, заступница Матрона, нательный крест. Могильный крест. Там никому не страшен серый волк, твой перочинный под подушкой нож, её колун в дверях, щеколда на калитке и крючок.

От дикой пляски малярной за окном проходит тень стеклом и пляшет на шкафу, проходит свет, а муха бьётся и жужжит; приложишь лоб – тепло проходит, холод. Неуловимое, без тела. Ладонью зайчик на подушке не поймать.

Она стирает тряпкой крест оконной рамы на полу, а он – опять.

Как в микроскопа крошечный глазок увидишь маленьких таких, а увеличишь больше – в них. Не видишь, то не значит – нет.

Мы есть. Ты просто нас не видишь.

Как лучик фонаря в ночном саду разгонит чёрных тварей по кустам, углам, когда ты ляжешь спать, она погасит свет и скажет:

– Не крутись.

## 14

– Ну, смертушка, пришёл, не чаяли в заздравных, де только черти носить, душегуб...

– А что обедать, ба?

– Обедать мухи съели за тебя.

– Иду...

– Чаво-то керосином пахнет... Это что же, брал в сарае керосин?

– Я – не...

– Мне керосину не бери! В жару такую только керосину не хватает сжечь по оба берега канал.

– По оба через воду не достанет.

– Де не достанить-то, живал? В пятидесятый год, нам только дачу эту с деда пароходства дали, баржá плыла, мазута напустила, так с того до нас огнём как мил свят подошло.

Он дзинькал колокольчиком под краном, смывая пепел, керосинный жир. Она поближе подошла, чтоб слышал, что расскажет, скрестила руки на живот:

– На шесть дворов тогда по нашей линии пожгло...

– А люди, баб, пожглись?

– Тем берегом, слыхала, хоронили, у нас нихто, осподь хранил, пожарные наехали, тушили.

– Чего тогда господь-то, ба?

– Язык поханный, Петя, твой. Поханный. Не в выгреб, вверх овном идёт. Хляди – вся мордь в коптё, как из котла, подмой. А керосин мне не бери, мне не бери! Пожжёшь деревню, черт и не на то благословит...

– Да ладно, баба!

Она любила, когда за стенкой, слушая, покойник не выдержит и вступит в разговор, укоротить его как следует словцом, чтоб место знал и наперёд не лез.

– Вступил. Ляжи учи, защита, себя от комара не защитишь! Пожгёт деревню, сам живьём сгоришь в хробу своём.

Кулак ударил в стену, задребезжало жалобно стекло, осыпалась на лавочку труха, подпрыгнул таз. Она спокойно досказала:

– Повоюй. Отвоевашь, перекрестимся. Господь простить, и Пётр Христа прядал.

– Баб, как предал?

– Ты мыло-то отмой, гляди – ввозюкал, так мне овном назад не ложь.

– Ба, как предал?

– Отрёкся. Три раза повторил: не знаю бога во Христе, как ты не знаешь бабушки своей.

– Чего я, баб, тебя не знаю...

– Чаво... А то не видит бабушка сляпая, как чёрта корчишь в спину ей, всё руку рвёшь, как улицей идём, стыдишься. А за одной бедой борщи хлебам. – Она вздохнула: – Недаром, вишь, по святцам Пётр выходил... Помыл?

– Помыл.

– Помыл – да не отмыл. Да чё ж ты делаешь-то, бездонный? Куда мне об штаны мокры втирать?

И с ловкостью могучей, как будто дух всеправедной войны её огромное рябое тело на жалких крыльях сарафана возносил, с гвоздя свирепо сдёрнув полотенце, замахнулась, и он, под свист кухонной тряпки поджимая острые коленки, крутился и кричал:

– Да баб! Да баб! Да ба-а!!!

Обедать сели.

К еде она спросить любила:

– Ну?

И нужно было поскорее отвечать, что вкусно, чтоб от своей тарелки взгляд не довела в его и не заметила, что он не пробовал ещё, а ждёт, пока остынет. Заметив, говорила:

– Живо ешь.

– Горячий, ба.

– Холодным в хробь кладут.

И дула в суп сама, по ложке отгоняя рябую жар. Петруша тоже дул на ложку, сгоняя щавелевых мух к краям, и, вздрогнув, с мухами глотал под надавившим лоб свинцовым взглядом.

– Хлеб бери.

– Я не хочу.

– Ешь, говорю, в врата не пустать, посмотрят в ложку, скажут – ел не дочиста. Ешь гуцу, доедай, в ей всё, без гуци щи воды иди хлябать.

– Что всё-то...

– Всё. Без съешь не същешь. Польза.

– А я, ба, не могу, тошнит.

– Тошнить чем в котелок крошил, не бабушкин щавель.

– Чего крошил?

– Сам знашь чаво, с тобою баба полем не ходила.

– Мне, ба, второе положи...

– Второе после первого ступат, с обеих ног прых-скок – не воробей.

– А мама разрешала...

– Мама... Вот мама разрешала, так и не надо было мамы со свету сживать, а бабушка не разрешат, её теперь сживай, сживёшь – и ешь без гуци. Ешь. И молча.

– Баб, а чего меня в честь этого назвали?

– И Ваню я по святцам назвала, в Усекновенный разошлась. Иоанн-то не десятым был числом, а у меня под вечер как схватило, перепугалась – не могу, не буду, говорю, родить, а дохтор наш, молоденькой такой, смешливой: не будешь? – говорит, – когда ж тогда, в Иванов день? А мне бы хоть в Иоаннов, хоть в Степанов, а только хоть што сделай, отпусти. А он смётся, говорит, тебе-то, говорит, на Иоаннов, а осподу с солдатиком чичась. А вышло-то как раз на Иоаннов, в шестом часу, под утро только Ваню родяла и Ваней назвала.

– А я?

– А ты по святцам Пётр-хрястапрядатель выходил.

Обед к концу. Жара такая... На ржавой хохломе подноса чугунная паук-подставка для сковороды, солоночка резная, в закаменевших кляксах помидор, стакана два: один его, с осадком жирным утреннего чая, второй её – с заваром лопуха в старинном кованом кольце. Он под клеёнкой мнёт в гармошку ложку – согнёт и распрямит, согнёт и распрямит. Диван-аккордеон в углу, горбами от распрямленных пружин, обтянутый до треска швов гнилой рогожкой, за слоем слой – велюр, жаккард глядят, как те наносы вековые, в каких учёные читают времена. Комод с запасом лампочек, розеток, проводов. Буфет с раскисшей пастилой, надкушенный и так заиндеветевший пряник – обитель рыжих муравьёв; сырой сухарь пропитан запахом помады, не держат дверцы круп на чёрный день запас. Она пройдёт – захлопнет дверцу, он захлопнет, и опять.

Дневное солнце дребезжит на спинке папиного стула, где он сидел в обед, когда он был, бросает тусклый свет сквозь грязное окно. В покойницкой из плешек гробовины сочится пыльный свет лучами до стены, щитка колёсико в газетный уголок шуршит, из холодильника стучит, и стрелки тянут время. Жизнь идёт, и старый дом скрипит, как будто из последних сил невидимая упряжь-память кибитку с мертвецами и живыми тянет на погост.

Она зевнёт – и он зевнёт. Она вздохнёт – и он вздохнёт. Покойник стих, и только муха над столом жужжит, присядет на клеёнку, руки чёрные почешет. Он на неё махнёт, она махнёт, а муха снова на столе. Убить и хочется, и лень.

Убил.

– На пол мне не смахай, ходи потом по трупам...

– А как хриstopредатель, баб?

– Тарелки собери, помой... устала баба, устала баба, нету сил моих... не трошь!

– Чего?

– Не трошь, сказала, ну тябя совсем, чаво ты с ложкой сделал? Чаво ж творишь-то ты, злодей?

– Да ба, тут распрямить...

– Поставь, последнее добьёшь, не знает горя дурь. Вон жизнь-то распрями, как не сгибал. Не брали руки топора – и кресть тесать не надо... Чай пей. Вареньица ложи.

– Баб, ну скажи...

– Да што скажи?

– Чего хриstopредатель?

– Отрёкся, трижды предал Пётр Христа, а тот его простил, сказал: паси овец моих.

– Каких овец?

– Его овец. Овечье-человечье.

– Чего же он сказал, чтоб пас, раз знал, что Пётр – предатель?

– А потому сказал, что волки на земле овец пасут, и все мы под овчиной волки. Добра не жди. Вообще добра не жди, как бабушка ждала, не жалко будить не дождать. Овца для сена – тоже волк.

– И что, ба, Пётр с Христом?

– Вот так как мы сидели за столом, и Пётр клялся за Христа пойти на крест, как ты мне третий день клубнику прополоть божишься...

- Я не боюсь.
- Божись, а не полешь. Божиться без креста – не то што на кресте.
- А я и не боюсь.
- И не божись, не обещаю за волю его, по писаному живы, осподь меню не предлагал.
- После обеда прополою тогда...
- После обеда лучше мне жуков со щавеля пожги, располонились, нечем суп варить.

Пожгёшь?

- Пожгу.
- А керосина не бери – смотри, узнаю, такого не хватало, чтобы керосина тратить на жуков.
- Сама, ба, тряпки поливаешь им.
- Какие тряпки? Де?
- Да те, в кусты бросаешь...
- Это надо, а не так. Не терпят твари керосин. А ты вон в банку собери, газеткой обложи

да подожги, они, бог даст, и так сгорят.

Бог даст сгореть жукам в консервной банке, и на коленях, пеплом землю поперчив, она ведёт старинной лупой по стеблям, обгрызленным до рёбер листьям, выглядывая следующий обоз. Петруша, денщиком при генерале, идёт за ней с готовой к сбору банкой, – щёлк! – о палец пальцем жуков сбивает в жестяное дно. Тук, тук! – жук на жука, и погремушкой стучают жуки в железку и друг в дружку, когда Петруша сверху крышкой закрывает банку и трясёт.

- Чаво гремишь? Нашел гремушку поиграть, распотрясёшь.
- Они же с крышкой.
- А не распотрясёшь, до смерти напугашь.
- Им всё равно гореть.
- Не сё равно, они не знают, что гореть... Это куда ж?
- Пописить.

И, отойдя за угол дома, стряхнёт жуков в траву, сухой земли черпнёт в жестянку, чтоб было чем взамен при ней греметь.

Томительное знойное безделье, в нём Сашка по-английски говорит:

- Ай лив ин Москоу... ма-а... Ма, больше не могу...
- Читай давай.
- Когда обедать?
- Никогда, читай.

– Итс литл маус, литл кет, из вери биг, итс сноу, тейбл, бук... итс мистэр Брайн, итс миссис Брайан...

Всё шли сухие, сквозь пропитанные солнцем дни, без облачка, без ветерка, без тени. Слоистый неподвижный жар стоял в саду, за домом с тёмной стороны и то за тридцать, и белые безросьяные ночи мяли щёки валкой мякотью перин. Тенями быстрых облаков скользили сны, и в них бежал куда-то, звал кого-то, рыбиной распахивая рот, и слёзы-сопли растекались по подушке, к утру всыхая нимбом соляным. Сквозь ветхую исстиранную тканьку с рисунком слоников со шрамами заштоп кололись перья, подпольные мыши всю ночь скребли и шевелили темноту, она из сна шептала жалобно, то вскриком:

– Ваня... Ванечка! сыночек, не ходи... – И, оттолкнув невидимую тяжесть, под ржавый скрип пружин себя саму перевернув, ворчала: – Што шкулишь? шкулить, шкулить разлука, баба слушай...

- Жарко, баб...
- А жарко, так подушку от земли переверни.

И он переворачивал подушку, от наволочки прохладной, щёки и лба касался холодок, как мамы или папина рука, – казалось, вовремя поймай, проснёшься, и они...

Проснёшься – и она.

\* \* \*

Жара не отпускала.

Скатали одеяла, укрылись простынями, но под ними безбожно ело комарьё, влетающее сквозь сеть оконной марли, и вонь одеколona «Красная Москва», какой она пыталась кровопийцам нюх отбить, жила в носу, ходила шлейфом. Покойник за стеной чихал.

– Будь жив, Данил! Христось тябя храни...

– А-а-апчхи!

– Ну всё, наладил. Один не гость в похороны.

Данило Алексеич, как при жизни, чихал по многу раз, то шесть чихнёт, то семь, и ждали, сколько раз, считали, бывало даже десять насчитать. Рекорд.

– А-а-апчхи!

– Ой, божички мои...

– А-а-апчхи!

– Чихнёт – не соберёшь соборовать...

И, отчихавшись, всё бубнил, стонал, расчёсывая в кровь укусы под левый бок живой рукой, и, пригрозив «живую руку к спудням примотать», она сквозь сон из-за стены просила:

– Данило, слышишь, не чеши, и так живём гниём, Данило, слышь? Вот за верёвкой-то схожу, де воли чёрту неть, там ангельчик подуить...

Кулак тянулся в бок, и пальцы соскребали подсыхающий расчёс.

– До мяса чесеть, силы нет мои, смотри, што он с собой творит... да что? Ну, что? хоть удави тебя, ни мучай, осподи помилуй... и жизнь штрашна, и штрашно помирать...

Грозь, чертя, крестя, целуя, она над дедушкой с заваром подорожного листа обмазывала страшные места, сушила в корочку намаз журналом, мамы феном, когда хватало сил в ночи за удлинитель провод от веранды протянуть, обматывая с утра тело коконом в лопух. Лопух ссыхал за день, вбирая хвори из мощей, подав покойника к стене, листья снимали, выносили хвори за калитку или в бочке жгли...

– Чего ты, баб, всё лопухом, как голубец его...

– Лопух – осподне ухо, все хвори вслушает в сябя.

Про это папа говорил всегда: *мура*.

– И дал чуму и мор, и дал лекарство, и всякое лекарство из земли.

И язвы мазала землицей на слюнькё, прижав лопух, вздыхала:

– Ничаво, кромешный, подживёшь, ище нас всех переживёшь... Данило, слышь? Петровой свадьбой погуляшь, сё жизнь-то шмерти краше, а? Какая ни кака...

И Дергуновой, сидя лавочкой под окнами пустой, вздыхая, говорила:

– Што ты, Зина... не приведи осподь живым во хробе тлеть...

Собаки выли на большую красную луну; к утру в окне опять квадратное стояло солнце. Крыжовник запаршивел, сох на ветках, как изюм, мучнистая роса белёсой плесенью кропила плётень виноградный, заржавившие листья кочанов.

– Ну, пекло, будь оно неладно, в аду так черти коммунистов не пекуть...

Покойник не хотел, чтоб гадости она про коммунистов, про страну, и в стену молотил, кулак сшибая боем, ругаясь, растирал по свежим простыням кровя, и, взяв в коробочке медальной партбилет, она несла ему, в кулак затиснув, говорила:

– Кряпчей держи свой пропуск в рай, Данило, хляди, архангелы границей отберуть...

И дед держал билет и плакал.

– Петрушка, шланг с тропинки убери, как змиев хвость ляжить: споткнётся баба, шею сломлет, не дождёшься...

Он брёл, забрасывая в клумбы шланг, ссыпая пёстрым бело-розовым ковром душистые пионы...

– Цветов мне не губи, палач.

– Сама ты...

– Што сказал-т?

– Я, ба, гулять...

– В воду ни лязь, холерной палочкой идёть с Москвы, по радио сказали, уха в канале, рыбадохнуть, слышь?

– Да слышу...

– Пакет возьми – мне зверобоя набери.

Он сдёрнул на верёвке сохнувший пакет, прищепка пулей отлетела в сточную канаву, в канаву эту она прищепки посылала собирать потом, когда от них верёвка поредеет, и он бродил нейтральной полосой с корзинкой, искал в траве прищепки, как грибы.

– Моя корзинка, баб, мне папа подарил...

– И што – твоя? Твоя – гвоздём при венниках висеть, труху копить?

– Грибы чтоб собирать.

– Грибы... В моих ногах могилы бы дойти.

– К могиле, ба, в гробу несут.

– С тобой сама дойду.

– Я, ба, тогда один схожу...

– Сходи. Один сходил уже.

– Чего сходил?

– А вон на Павлова у родника загрызли ходока.

– Русалки, ба?

Она крыжовину сорвала, разжевала, сказала, выминая жмых под языком:

– Шмяшно тебе... Шмяться, чижик, тоже зубы оштрые нужны. Шобак поразвели, шобаки, людям ходу нет, – и шкурку сплюнула в кусты, – каналом, Зинка говорит, котов подушенных гниёт...

– Да ничего там не гниёт.

– Убьють да бросють, не сожруть – сыты, так раньше-то не били, штрашно, Петя... и Шарик-то вон их...

– Он, может, ба, и прибежит ещё.

– С тех светъ не бегают назадъ... тут хуже говорить. Не будет зверобоя, клевер собери, но лучше зверобой, подъёмная трава...

Она сошла с крыльца, пошла за ним на тёмный двор к калитке, досказать.

– Кода палач нёс голову Иоанна в Иродов дворец, с её на землю кровянилось, и де упали капли, там и вырос от ста болезень зверобой...

– Каналом, что ли, нёс?

– И нёс.

– Прямым нашим, баб, с Москвы до Ирода-царя?..

– У Ирода-царя повсюду на земле дворцы да люди. Ну всё, иди, осподь тябя храни.

## 15

Торфяники горели, над каналом стояла жёлтая удушливая марь, в ней шевелились волосы кувшинок. В застывшем безвременье полдня от шлюза к шлюзу плыли облака, теплее воздуха вода крахмальным киселём тянула окунуться.

– Здрасьте, тётъ Люб.

– Привет, ребёнок, к нам давай, – рукой от солнца надвигая козырёк, позвала тётя Люба.

- Не, бабушка не разрешила...
- С нами-то уж можно? Я-то здесь...
- Холерной палочкой плывет с Москвы, по радио сказали...
- Чего, совсем? – спросила Сашка, вынырнув из книжки, зевнула, отвернувшись смуглым

боком в капельках воды.

- Да ерунда какая, просто воду не глотай...
- Да не...
- Ой, прям холера, прям холера, прям чума...
- Саш, перестань.
- А что?

И тётя Люба, отодвинув сумку к краю, постучала в плед:

- Давай садись...
- Не, баба даст, я не...

Петруша мимо зашагал тропинкой вдоль канала, и голоса от тётки Любы с Сашкой таяли в медовой, полынным сеном пахнувшей траве.

- Какая муха укусила, Сань...
- А что...
- Да ничего...
- А чё он, мам...
- Грубятина такая стала...
- А чего...

– Да хватит, говорю, то дружишь, то шипишь. «Чего» да «чё»... и тоже, кстати, воду не глотай, расстройства только не хватает...

«Чего она? – Он оборвал ромашку, щёлкнул, снова оборвал. – Холера не такая, чтоб тебе на корабле плывёт и машёт... Сама совсем, ещё узнаешь мне...»

Слепёнь пристал, гудел, не отставал, перебирал вкусней и безопасней впитаться место, он побежал, слепёнь летел за ним, и с высоты своей смотрело солнце, как тощий мальчик взмахивал руками, кружил на месте и бежал, как будто сто волков за ним невидимых гнались.

Отстал?.. Прислушался: гудит. Отстал?.. Прислушался: гудит. Остановился, протянул слепню в царапинах колючек руку: на!.. И замер. Слепёнь сел, бесцветный, серый, длинный. На! Большая тишина мгновенно проглотила звук хлопка, и придорожная трава беззвучно приняла уродца, кровь за кровь.

Он огляделся: вдоль тропинки клевер чахлый, подорожник пыльный, сиреневой горой до полканала прибрежный иван-чая лес, но иван-чай она не говорила собирать.

«Лежат на ихнем месте, умные такие... давай иди! давай садись! А там ступеньки даже папа мой копал... – И он срывал ромашки на ходу, бросал, срывал, бросал-срывал. – Не видно – то не значит нет, в холерных палочках купаться, на тебе! Умри!» – И новый слепёнь тяпнул со спины невидимый, а больно так, что сразу ясно: есть.

- Иди-ка, брат, сюда, смотри, какую вещь принёс...

Петруша подошёл к столу, стол папин был тогда высокий, выше крыши, совсем не то, что стал теперь. И время, значит, уменьшает тоже, как шаги.

- На стул вставай, смотри... – И папа показал ему стекло с какой-то каплей.
- Видишь?
- Вижу...
- Врёшь, брат, сейчас не видно ничего, – и положил стекло под глаз какой-то трубки.
- Теперь смотри.

Петруша заглянул, сощурился лишним глазом, и увеличенная капля ожила, в ней было столько!..

- «Не видно ей...» – И он опять сорвал и выбросил ромашку.

«Цветов мне не губи, – сказала баба в голове. – Палач».

«Ты прям увидишь...»

«Чаво не видит баба, видит бох».

«Откуда видит? Ба-а? Ба-а-аб? откуда видит-то?»

«Откуда да откуда, лобь бесглазый. Из их на тя, из тя на их».

И бог поглядывал из глаз, как он ромашки рвёт, не останавливал его, кивал и повторял: – На, на тебе! Умри! Ступеньки даже папа мой копал... Умри! – Ромашку снова отрывал.

Лопух качал сожжённым солнцем – божьим ухом, кузнечики в траве скворчали, между пальцев сжатый конский щавель опадал.

Он дальше шёл подножием кургана в сопровождении плывущих к Клязьминскому шлюзу облаков, консервных банок, палочек холерных, угрюмо подволакивая ноги, пыля в пыли по узкой вытоптанной ниточке травы к началу дамбы и её концу. Как посмотреть, как посчитать, к чему идёшь: конец у дамбы был, где и начало. От леса если, то кончалась дамба, от дома если – начиналась там.

Начало – где конец. Как ни вилась лыжня, как ни летела вниз, как ни тянулась вверх, каких ни проходила мостиков и ёлок, ни пробиралась в кручах снеговых рекой, ни обводила берегом пруды, ни пряталась за поворот, как ни петляла, ни плутала – она вела назад, к конечной у троллейбусного круга, где папа пикой палки лыжной на крепление нажимал и говорил:

– Ну, брат, считай, почти что дома...

И чтоб назад вернуться, мама ленточек набор давала лыжный им в дорогу, Петруша выбирал сосну, берёзу или ёлку, и ленточки, чтобы не заблудиться в лыжном лабиринте, привязывал на ветки сам, пока не засвеклеют от мороза пальцы, и их отвязывали с папой по возвращении назад.

– А это што у ней? Наворожила, ишь ты, узелков...

– Ба! дай! да дай!

– Тябе щас дам, уди, не лезь.

– Не режь!

– Чаво блажишь, буйной? Мялицию позвать?

– Да это чтоб по ним назад!

– Назад? Ну на. На, на тебе! На, на тебе! верни назад-то их... На, на тебе! На, на тебе...

Бетонный дамбы волнорез тем берегом канала тянулся до речных вокзалов, порта вправо-влево, на этой стороне осыпавшись удобным для купанья скатом насыпи дроблёного щебня.

Спустился вниз к воде. Почти не шевелясь, прозрачная река едва вела берёзовую стружку бережком. Над солнечным пятном в траве жужжали мухи, мешая летний день с едва заметным запахом гнильцы. Он подошёл поближе; запах слаще, гуще... противный, рыбий, водяной.

Как в «жарко-холодно» играл, остановился. Ещё шагнул. Теплей, ещё теплей... Ух ты!.. В сухом валежнике на осыпи камней лежал Добжанский кот. Он подступил поближе, нос зажав, смотрел: Добжанский или нет? Добжанский? Добжанский кот! Ух ты, ух ты, ух ты!

Закрыли Клязьминские шлюзы. Течение сменилось, вода приподнялась над прежним уровнем береговых камней и понесла назад речную гущу, чешуйки от семян, кувшинки без корней, пушинки, банки-склянки; жужжало облако из мух, в коте чего-то копошилось, рылось, шерсть протлела, и тусклой сизью затянуло единственный теперь зелёный глаз.

Воскреснет, щас, ага...

– Холерный кот! – Он, хмыкнув, подцепил кота на пенопластовый кусок, приставший рядом, поправил камнем, чтоб лежал посередине, сандальей в воду подтолкнул. Теченье приняло ковчезек, подхватило, баюкая на ряби, понесло к Москве. Плот повернул вдоль насыпи, исчез за выступом стены борщевика и возвратился Сашки Василевской визгом.

Кругом меня цвел божий сад;  
Растений радужный наряд  
Хранил следы небесных слёз,  
И кудри виноградных лоз...

*М.Ю. Лермонтов. Мцыри*

- Насобирал?  
– Нет зверобоя, баб.  
– Кому и неть, чаво неё видеть. Сляпой не знать, что сляпой, пока ни скажут люди добрая ему... не то уверовай, что жизнь, а то, што исть за ей другая.  
– Я, ба, смотрел...  
– И баба смотреть, дня не видеть. Ни зверобоя неть, ни клевера нима, берёзы ни стоять, а лоб расшиб, об чё ж?  
– Ой, я сейчас...  
– Сичась прошло, поминок неде справить.  
– Я нарву...  
– Наврешь, да баба разгадаеть.  
– Нарву...  
– Навру на веники сушить?  
– Я щас...  
– И-и, щас... быстрее только годы вон лятять. Обедать скоро, всё уж, не ходи.  
– Я, кстати, видел, баб, Добжанского кота...  
– Да что ты? слава те... оть радость Надьке будить... Де же?  
– Каналом плыл на пенопласте...  
– Тьфу, дурак.  
– Да, баб, вон тётя Люба с Сашкой тоже видели его...  
– Весла́ми гребь, ляща удил?  
– Не, по теченью,дохлый...  
– Осподи помилуй... как же то? – спросила, не меняя равнодушный взгляд, и, надкусив пакетик борной кислоты, бумажный корешок отплюнув в флоксы, в банку затрушила порошок.  
– Чего ты делаешь?  
– Дяла, Петрушка, делаю, дяла. У их, што сами садом не идуть, не спросишь... да это кто ж его?  
– Собаки, баб, наверно...  
– Собаки ладно, а на пенопласт-то кто? Тут не собаки, туть свои. Свои похуже стороны... не ты?  
– Не я.  
– Не ты, – она кивнула. – Уж знать баба, как не ты.  
Из фартука достала кубик рафинаду, во рту расхрумкала, переслюнив, отплюнула в бачок.  
– Чего ты делаешь-то, ба?  
– Чаво... Потравку. Из всех щелей ползут, трушат доску. У пряников пакет не открывала, смотрю, а там уже заразные они. И как прогрызлись – бох их знать, дом из-под ни`зов подкопали, твари, и так-то рухнет скоро дом...  
И чтоб не рухнул дом, посыпала крыльцо потравкой сахара и борной кислоты. Потравку тут же облепили муравьи.

– И что им будет?

– Им вернее смерти неть. Полягут. Ищѣ вон Зинка говорить, что манкой можно их потравкать, да манка вся, поели манку, Петь. Поедем в город, не забудь напомнить мне...

– Как манкой, баб?

– Да как... Просыплем маночкой, пожрут, она разбухнет в них, и лопнуть, осподи прости... Напомни, Петя, манки-то купить.

Досады тень сошла с её лица, поплёвывая сахар на заман, она довольно улыбалась, ступенями, подолом сарафана бежали и бежали муравьи. От солнца чернота в окне пустой светилась, как будто лампу в комнате покойника зажгли, усыпанная мелким гравушком притычка, корявый яблоневый ствол, облитая огнём полуденным вершина, тропинка да калитки, и за ней...

День ликовал. В полуденном свете сверкали грозди алые смородин, равнинной глубиной тянулась неба синева. По дачным линиям, в эмалированных тазах густел медовым дѣгтем вар варѣный, за полем в раскалённом зное выкипали облачка, курился торф, искали вдоль плетней тені собаки, но тени нет – повсюду свет.

Под кривенькой стеной щербатого забора пестреет пышный сад, её роскошные цветы с бесчисленным разнообразием оттенков, и между листьев вспышкой солнца там и тут – в четыре края крест, восход-закат, закат-рассвет.

– Осподень рай. Осподне лето...

Она сажала и поила, и рыхлила, за каждой клумбой, стебельком следил привычный, цепкий, *счѣткий* глаз, и муравьѣ, тварьѣ и татарьѣ, ползло из всех щелей, из-под земли, трухля кору и подрывая корни, кормилось и поилось, и губило взращенный любовно, подобно Божьему творенью, сад.

«Вернее смерти, Петька, неть. Посыплем маночкой, они пожрут на жадность, манка-то разбухнуть в их, полопается тварь. Напомни манки-то купить...»

Под низким косяком двери – мушиной ленты липкий шорох в волосах, в прохладных сумерках беседки батареи пузырьков, бутылок-склянок: яичной скорлупы, гашѣной извести, золы толчѣнный порошок, коробка соли, соды, марганцовки пузырёк, суперфосфат, крысиный яд и ужас банки щавельных жуков с следами детских пальцев в копоти эмали.

В песчинке манки смерть – размером чуть поменьше муравья и чуть правдивей веры в семечко гречишного зерна.

– Петруш?

– Чего?

– Поди-к...

– Чего?

– Поди-поди, чаво покажет баба...

Он вышел из беседки.

– Каналом, говоришь, на пенопласте плыл?

– А что?

– А ну-ка, глянь...

Тропинкой от калитки дальней брѣл живой Добжанский кот.

– Воскрес...

– Ну, мельница блажная! Погоди! Дождѣшься бабушке лапши... воскреснешь мне, антихристь...

Он отскочил, и, не достав затрешиной его, она перекрестилась на кота, и кот, окрѣщенный, запрыгал грядками, нахально помечая червяком хвоста белѣные стволы, кирпичные склады, садовые зады, исчез в колючей проволоке малиновых рядов.

\* \* \*

Оранжевое солнце в кружке плавит ложку, она кривится, тает; вынешь – как была. И солнца маленький глоток с индийским чаем, с раскисшей крошкой от баранки, мошкой, с берёзы крестиком на дне.

По воздуху клубничного варенья плывут к огням веранд рогатые жуки, оса в янтарном мёде вязнет, смерть сладка, над бархатным ковром демисезонных примул, в какие Пётр-апостол уронил от Царствия Небесного ключи, гудят устало пчёлы. Вечерний звон посуды, вечерний разговор, вечерний свет.

Старуха, ведьма в армяке овчинном, затянутым покойника ремнём с военной бляшкой наградной, в помятом грёчнике под марлевой вуалью, она на ощупь подбирает от сарая ключ, роняет связку в темноту, кричит и охает, валясь коленями в траву, руками водит по земле, ругает спину, горе, сатану.

Ключей на связке больше, чем замков, как будто где-то есть ещё у ней схорон сараев, подполов, шкатулок, сундуков.

– Ба, этот от чего?

Молчит, губами шевелит, крыжовный хвостик на галошу сплюнув, скажет:

– От швета отойди... тяперь швяти... куда швятишь, чумной? Шюда!

– А этот, баб?

Молчит.

– А этот? Ба?..

Молчит.

– А этот?

– Рот тебе закрыть.

Пройдёт по сумеркам, ворча, к калитке дальней, ночь запереть в четыре досочки гнилых на трёх гвоздях замком амбарным; её стирает синева ночного сада, и только хруст галош, щебёнки шорох и тёмных листьев шепоток. Тук-тук, стучат в окно седые мотыльки, и мошки нимбами кружат над нимбами ромашек, со всех сторон кузнечики трещат, как будто не снаружи, а внутри, как сам трещишь, гудишь, жужжишь, когда глаза закроешь. Откроешь – небо над тобой, закроешь – нет.

Вечерний хор июльского оркестра, на дне у неба и земли лежишь, раскинув руки, и в спину прорастает вечная трава в подлунном тёмно-синем воздухе цветов. Лягушки пролетают над тобой, взбирается на пик коленки муравей, а солнце всё горит пожарной вышкой через решётки башни часовой.

– Петруш, ты де?

И он молчит.

– Петруша-а-а! шатана такой, ты де? Пе... осподи помилуй! Что ж ты делаешь, а? А ну вставай! Вставай, зараза без мозгов, чаво пугашь-то бабку? Вставай, дурня. Зямлёй успеешь отдохнуть.

Они на лавочке сидят за Василевских домом, воскресшего Добжанского кота пытаются, где он был. Петруша держит жирозадого за лапы, чтоб не дёрнул, а Сашка чешет щёткой, чтоб размяк.

– Хороший кот, хороший котик, Васька... Наверно, Шарика видал, да, Вась? Где Шарик, Вась?

Но кот мурчит, искрится, выгибает спинку и щурит лунный жёлтый глаз.

– Петруша?.. Де ты ж черти носюшь?.. Петька-а-а!

– Тебя зовёт...

– Меня здесь нет.

И, выглянув за дом, тётя Люба говорит:

– Петь, бабушка зовёт.

– Мам, нас тут нет... – И Сашка руки перед носом, как молитвой: – Ну, ма, мам, ма-а, пожалуйста, нас нет...

– Десятый час.

– Ещё чуть-чуть...

Ещё чуть-чуть их нет.

Убийца не сообразит, бежать или урчать? – и хорошо ему, и жутко. Свобода дорога, неволя сладка, и хвост как маятник – туда-сюда. На ёжике расчёски шерсть и семечки репьев, на лаковых штанцах сосульки глины, из пасти тухлицой несёт, из глубины утробный рык. Под бархатом холёной шкуры – многоголосой смерти переклик. Убийца пойман. На совести его кроты, полёвки, птички, смерть бабочек, стрекоз, кузнечиков, лягух, разбитые скорлупки, на совести его разбросаны посадом кости из бульонов, литавры сбитых крышек, Васька-душегуб.

– Хороший кот, хороший, Вась...

И уши жмутся к голове, и правый глаз косит налево...

– У-у...

– Пустите вы его...

– Любаша-а!

– Ай?

– Приблудный мой у вас?

– Да где-то были тут...

– Ой, Люб, нет сил моих на их... Один тяжной, другой блажной, ложись да помирай, ербжится над бабкой, поросёнош...

И тётя Люба закричала тоже:

– Саша! Саш!

И вдоль нейтральной полосы они идут вдвоём на дальние зады, в два голоса крича:

– Петруша!

– Саша!

И от кургана отвечает эхо:

– Аша!..

– Уша!..

Добжанский-душегуб сутулится...

– Рычит...

– Хороший котик, Вася... лапочка, красавец... Где Шарик, Вася? Покажи!

– Ну чё, пускать?

– Давай...

И кот, пружиной с места разогнувшись, вверх летит, вильнув куда-то вбок, прошкрывав темноту.

И темнота.

– Гадюк...

– Куда он делся-то?

– Туда...

– Вась-Вась! Вась-Вась! Васю-ю-ша! Вась-Вась! Кись-кись!.. Сыно-о-к... кись-кись... кись-кись... домой иди! – несётся вдоль заборов от добжанской стороны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.